

Б 90

Р 50091

МИХАИЛ БУБЕННОВ

БЕССМЕРТНЫЕ



Г



МИХАИЛ БУБЕННОВ

БЕССМЕРТИЕ

повесть



советский писатель

МОСКВА ■ 1941

Художник В. Резников

Отгремел ледоход. Могучая Кама шла властно и грозно по тихой весенней земле. С горячей решимостью она очищала свой извечный путь, — где надо, подмывала и обрушивала берега, низвергала деревья, сносила постройки... Но люди с восхищением следили за буйством освобожденной реки: было что-то справедливое и мудрое в ее разрушительной силе. А потом Кама разлилась, да так широко, что всем показалось, будто раздвинулся горизонт и стало светлее и просторнее в мире. От правого берега, гористого и окутанного лесами, ее воды ушли за много верст до неясно очерченных грив. В пойме остались небольшие острова, и на них, захваченные врасплох, суматошно толпились нагие перелески. По отмелям бродили осоки и ветлы, бережнонося десятки гнезд; вокруг, ахая, билась встревоженные грачи.

С трудом смиряя свой буйный нрав, Кама медленно, неохотно ложилась в русло. А когда улеглась, — спокойно и просто стало на

ней. Повсюду шныряли (особенно на утренних зорях) остроносые рыбацьи лодки, и чайки-хохотуньи, перекликаясь, азартно охотились за мелкой белью. С верховьев неторопливо шли плоты; на них задумчиво курились дымки. Вечерами, когда под небосводом яркой блесной качался месяц, по искристым заплескам шумно играли судаки и сомята... А на берегах Камы началось великое житнетворение. Ожили леса, от щедро выброшенной деревьями листвы, от густо поднявшихся мхов и ядреных трав там стало так тесно, что лоси, пробираясь на водопой, ломали рога. В пойме дружно, как по сговору, зацвели травы: засверкал лютик, точно осыпанный брызгами солнца, в мышином горошке враз зажглись миллионы огоньков, всюду замелькали ярко-красные метелки кукушкина цвета. Над пахучим разнотравьем высоко поднялись кучерявый золотарник и гордый иван-чай, весь в пурпурных кистях, в лугах мела цветочная метелица. Дни пролетали быстро и бесшумно. Изредка, гулко гремя и встряхивая землю, прокатывалась гроза, а потом над Камой, упираясь концами в берега, долго висела многоцветная арка радуги.

В ожидании богатых даров земли радостно жило Прикамье. Но когда начало догорать лето, на Каме внезапно появилась баржа с виселицей. Двигалась она медленно. Там, где проходила она, — поднималось смя-

тение: разбежался народ из деревень, рыбаки прятались в укромные протоки, девушки стремглав бежали в глубь поймы, бросая корзины с ежевикой и хмелем... На ночь баржа останавливалась в глухих местах, и тогда многим приходилось слышать: в глушь ночной поймы неслись сухие хлопки выстрелов, крики и стоны. Утром баржа снималась с якоря и шла дальше, а оттуда, где стояла она, река уносила убитых, выбрасывала их на песчаные отмели, прятала в затонувших тальниках. Жители прибрежных селений находили убитых и, хмурясь, торопливо предавали земле. Там и сям на берегах Камы вырастали бугорки свежих могил; на одних металась, рыдая, женщины и дети, на других — в солнечные полдни — грелись и дремали утомленные охотой седые ястребы...

II

Август был на исходе. Баржа с виселицей остановилась неподалеку от устья Камы. Маленький буксир, задыхаясь, дал несколько строгих, зовущих гудков и ушел в Богородск¹ за нефтью, а со всей ближней округи, по проселкам, белые каратели погнали к реке новые партии приговоренных к смерти — оборванных, избитых шомполами и нагайками. Их принимали на барже и бросали в трюм.

¹ Богородск — теперь Камское Устье.

Буксир вернулся утром, когда еще дымилась река и в лугах жалобно покрикивали, потеряв родные семьи, недавно поднявшиеся на крыло журавли. Из Богородска на буксире привезли Мишку Мамай — высокого, плечистого парня в грязной солдатской шинели, с завязанными назад руками. Пока с буксира принимали чалки, Мишка Мамай, встряхивая головой, откидывал пенистые рыжеватые кудри и угрюмо осматривал баржу. Она стояла у острой песчаной косы, а выше ее, на ярко освещенном взгорье, были разбросаны избушки в нарядной оправе увядающих, будто позолоченных садов. Над деревней качались похожие на султаны дымки. Со взгорья по оврагам стекали густые потоки чернолесья. На барже было тихо. На виселице — двое повешенных. Один пожилой, с небольшой, точно круглое зеркальце, лысинкой, в полосатой рубахе и портах из домотканного холста, в разбитых от долгой ходьбы лаптях: петля захлестнула его так, что он склонил голову и искоса смотрел в небо, где проплывали легкие белые облака. Другой повешенный — молодой паренек, без рубахи, босой, — он висел, опустив пышный чуб, словно думал тяжелую думу. По палубе бродила черная собака-дворняжка; поднимая голову, она брезгливо шевелила ноздрями.

Бросили трап. Капитан буксира Сухов подошел к Мамаю, взял за плечо:

— Пошли, сокол.

— Не хватай! — Мамай вырвал плечо. — Сам пойду.

На барже Мамай встретили солдаты. Молча оцепив, провели в каюту, у двери которой лежали ящики с пахучими яблоками. В каюте, за столом, покрытым белой скатертью, сидел поручик Бологов — начальник конвойной команды. Разрывая конверт, заляпанный сургучом, он коротко приказал солдатам:

— Развяжите его.

Читал Бологов медленно, сдвинув кустики бровей. В бумаге коротко излагалась история Михаила Черемхова. Он — из деревни Еловки, что на Каме, недавно мобилизован в армию. Полк, в котором находился он, действует на правом берегу Волги. Два дня назад разведка белых поймала матроса-большевика, по некоторым данным — видного командира или комиссара. Михаилу Черемхову было поручено доставить его в штаб. Но он, сочувствуя большевикам, совершил тягчайшее преступление: пленного отпустил, а сам убежал с фронта. Его поймали, когда он, украв у рыбаков лодку, переплывал Волгу...

Растирая онемевшие руки, Мамай с интересом осматривал начальника конвойной команды. Бологову было лет за тридцать, лицо у него красивое, с тонкой, холеной кожей, чисто выбритое; волосы светлые, мягкие, — казалось, легонько дунь, и они слетят, точно пух. Но сам он очень сухонький, как хвощ, голова его слабо держится на тонкой

шее, а в правом ухе — клочок ваты («Золотушный...» — подумал Мамай). И будто для того, чтобы поддержать свое хилое тело, поручик туго затянулся в желтые ремни портупей.

Прочитав бумагу, Бологов откинулся на спинку стула, и Мамаю почему-то подумалось, что не только портупея его заскрипела, но и плохо сложенные кости.

— Садись.

Глаза Бологова, большие и туманные, тускло светились на бледном, болезненном лице. В них столько усталости и равнодушия, что Мамай подумал: «Неподходящая у него должность. Ему бы на пасеке сидеть, со пчелами». И осмелев; дерзко сказал:

— Курить хочу. Давно без курева.

— Кури, — разрешил Бологов, — хотя я не курю и плохо переношу табачный дым. Ну, ничего, я окно открою.

Распахнул окно. Увидев у Мамаю синий шелковый кисет, обшитый кружевами, с улыбкой спросил:

— Подаренный?

— Баба одна подарила.

— Любит?

— Вроде любит.

Бологов придвинул к себе стоявший на столе кувшинчик с букетом и, нюхая цветы, бросил на Мамаю короткий взгляд:

— Большевик?

— И не собирался в большевики.

— Что так?

— Не очень-то нравятся.

Бологов спрятал неясные глаза.

— А сам большевика отпустил.

— Он не большевик. Из матросов.

— За что же отпустил?

— За что? За песни.

— Только не врать, — предупредил Бологов.

— Не веришь — не спрашивай!

— Я только предупреждаю.

— И так знаю! Сказал — за песни!

Мишка Мамай так тянул цыгарку, что она трещала. Табачный дым действовал на него, измученного бессонной ночью, возбуждающе: поглядывал он колюче, отвечал резко, отрывисто. Бологов сразу определил: это горячий, дикий парень, еще необъезженный жизнью. С такими людьми Бологов любил иметь дело на барже; ему, отъ природы слабому, нравилось взрывать сердца у этих сильных людей. Он хотел, чтобы это случалось чаще.

Бологов попросил:

— Расскажи подробнее.

— Могу, — согласился Мамай и затушил цыгарку о подошву сапога. — Шли мы дорогой, степью. Он начал петь. Одну песню, другую. Я крикнул ему: «Замолчи!» А он и ухом не ведет, поет. У, как пел он! Я сам петь не умею, а песни уважаю. Когда поют, — подтягивать люблю. Тут я задумался что-то, да и начал подпевать. У матроса этого голос

чистый, льется как... Что там! Вроде сердцем поет!

— Дальше что же?

— А дальше... — Мамай, помедлил и досказал спокойнее: — Матрос этот, значит, запел: «Смело, товарищи, в ногу...» Запел так... Что там! Я и не помню, как начал подпевать. Только потом смотрю: идем мы рядом, обнялись и поем...

— Понятно. Но как ты его отпустил? Точнее.

— Он сам ушел. Оборвал песню; посмотрел на меня, назвал дураком и пошел в лесок.

— Стрелял бы!

— Вот, значит, не стрелял.

— И сам побежал?

Мамай глазами указал на пакет:

— Там ведь написано!

Он, верно, вспомнил, как шел с матросом увалистой приволжской степью, как пел песни, а может быть, и еще о чем подумал, — опять нахмурился и повторил, нажимая на каждое слово:

— Там все написано...

Спрятав за горшочек с цветами пакет, Болотов сказал:

— Мне нужно точнее знать... От тебя знать, почему задумал убежать с фронта.

— Фронт! — Мамай ядовито усмехнулся. — Много там дыму, да мало пылу. Канитель там, а не фронт!

— Погоди ты...

— Вались к чорту! — Мамай вскочил. —
Надоело! Там все написано!

Бологов спокойно обернулся к солдатам,
загадочно шевельнул кустиками бровей.

— Что ж, запишите его на приход.

Солдаты схватили Мамайа за руки, сорвали
шинель, вытащили на палубу. Но здесь Ма-
май, разгорячась, так тряхнул плечами, что
солдаты полетели в разные стороны — один
ударился о каюту, другой, перевертываясь,
докатился до якорной цепи, третий едва не
выпал за борт... Мамай выпрямился, глаза
его сверкнули, как две капли ртути:

— Что надо?! Что?! Говори, гады, а не
хватайся!

Весь скрипя, подошел поручик Бологов,
спокойно поправил в ухе вату, указал на ши-
рокую скамью:

— Ложись!

Мамай встряхивало. Он понял: хотят по-
роть розгами.

— Ваше благородие, дозволейте...

— Ага, теперь ты будешь...

— Ничего не буду... — мрачно сказал Ма-
май. — Дозволейте, говорю, штаны снять.
Иссекут их. В чем ходить буду?

— Сними.

Смущенно поглядывая на поручика, подо-
шли солдаты. Когда Мамай спустил брюки,
угрюмо захохотали:

— Ого, вот это волосат!

— Волосат да сучкаст, чорт!

Мамай зло сверкнул глазами, лег на лавку. Гулко стучало сердце. Это был первый случай, когда хотели бить Мамай, — он не помнил, чтобы кто-нибудь его бил, даже в детстве. И теперь он не думал о том, больно будет или нет; ему только было очень обидно, что вот и его, Мамай, избьют, хотя он этого никогда не ожидал. И Мамаю захотелось взглянуть на того, кто будет бить его первый раз в жизни. Он взглянул и увидел: у каюты, присев на корточки, маленький рябоватый солдат, жалобно хлюпая носом, старательно выбирал таловые прутья. «Такой сморчок бить будет! — негодуяще подумал Мамай. — Да еще рябой! Господи, хоть бы не рябой!» И Мамаю стало еще горше и обиднее, и он судорожно сжался и закрыл ладонями бледные раковины ушей.

К рябому солдату подошел Бологов.

— Опять копаешься? Ну?

— Так точно... Выбираю пожиже.

Солдат поднялся, взгляд его был далекий и пустой, на висках — бисеринки пота. Косясь, Бологов спросил:

— Опять?

— Так точно, — жалобно ответил солдат. — Не могу...

— Почему?

— Он вон какой... рука не возьмет такого.

— А ты — сердцем. Ну?

У каюты кто-то рванул голосистую гар-

монь. Рябой солдат — Сergyа Мята — подошел к скамье. Засвистели тугие прутья. Поручик Бологов начал считать:

— Раз, два, три...

— С подергом не бей, — сказал Мамай сквозь зубы.

— Бей с подергом! — приказал Бологов. — Восемь, девять...

Сergyа Мята бил сначала редко, вяло, но через минуту, поймав косой взгляд поручика, начал хлестать все чаще и чаще. Лицо его пожелтело, на нем резче обозначились рябинки, он глуховато стонал и хлестал словно в отчаянии, словно не арестованного бил, а отбивался сам от кого-то... А гармонь гремела над рекой. Мамай еще с начала порки догадался: играют для того, чтобы заглушить его крики. «От рябого — да кричать?» — мелькнуло у него в голове. И Мамай, превозмогая боль, не кричал, не стонал. Стиснув зубы, он лишь изредка ворочался, но будто только для того, чтобы ненавистному рябому солдатишке лучше было бить. Спина Мамай быстро покрылась частой решеткой горячих, набухших кровью, рубцов.

Кончилась порка. Отдуваясь, Сergyа Мята отошел, выбросил за борт прутья и быстро скрылся за каютами. Мамай еще немного полежал на лавке и, только когда начал подниматься, тяжело застонал. Поднялся весь потный, бледный. В этот момент он походил на молодого галчонка, уставшего от первого

серьезного полета. Кусая губы, он с удивлением осмотрелся вокруг, на миг зажмурился, словно пораженный богатым убранством просторного дня. День распахнулся уже широко. Над рекой струилось солнце. На реке — пустынно, мертво.

Бологов поторопил:

— Ну, живо, живо!

— Сборы недолгие, — устало ответил Мишка Мамай, натягивая брюки, и вдруг опять ядовито усмехнулся, как в каюте, и голос его стал крепче: — Только вы, ваше благородие, сейчас просчитались. Как я сказал: «Не бейте, мол, с подергом», — вы тут заговорили да и сбились со счета. На один меньше дали.

Бологов рванулся с места:

— В баржу! Живо!

Забежав в каюту, он встал у стола, поглядел в окно — на сверкающую Каму, на безмолвное взгорье. Дышал порывисто и правой рукой, не замечая того, судорожно мял букет полевых цветов. Увидев у окна Ягукова, приказал:

— Мяту — под арест. На сутки. Без хлеба.

III

В трюме баржи с виселицей (на Каме таких барж было несколько) находилось больше двухсот смертников. Из разных мест свела их сюда судьба и породнила крепко. Говорили на трех языках: русском, татарском,

чувашском. Разные были люди: бывшие солдаты-фронтовики, члены сельских советов и комитетов бедноты, красногвардейцы и партизаны, рабочие из Казани и Бондюги, две пожилые учительницы и несколько простых крестьянок...

Все они были избиты нагайками и розгами, все исхудалые, грязные, длинноволосые, бородатые... Одеты были как попало: в оборванные армяки и зипуны, в дерюги и рогожи, в какие-то лохмотья, едва прикрывающие наготу. Валялись прямо на «подтоварнике» — шершавых, голых досках, под которыми лениво хлюпала вода. В трюме всегда было холодно, мозгло. Воздух был насыщен запахом гнили, плесени, тлена — в трюме лежали два трупа, а конвойная команда отказывалась вынести их. Заключенные знали, что они обречены на смерть. Зачем многих долго возили по Каме — никто не понимал.

Сидели смертники группами — «деревнями». Из Еловки в баржу с виселицей было посажено тринадцать человек, — больше чем из какой-либо другой деревни на Каме. Это произошло не случайно. Еловка издавна слыла как деревня, где постоянно бил гнев мужицкий. Было известно, что еловцы дружно помогали еще Емельяну Пугачеву, не раз они бунтовали в голодные годы, в 1905 году самые первые в Прикамье зажгли барское имение. Еловцы, всегда голодные и обездоленные, до иступления ненавидели своего

помещика — злого, ехидного вдовца, и когда осенью 1917 года он неожиданно, — раньше бывал только летом, — заявился в деревню, они встретили его у ворот усадьбы, сурово заявили:

-- Нет, барин, не пустим.

-- Как смеете! — крикнул барин.

-- Хо! Как смеем! -- захохотал один мужик. — Видели такого? Да мы, гражданин барин, всему миру посмели ногу подставить! Знаешь? Ну, поворачивай оглобли.

С легкой руки еловцев по всему Прикамью начали мужики захватывать барские именья, делить барские богатства, земли. Одни из первых по округе еловцы создали совет и хорошо крепили его. Когда нагрянули белогвардейцы, они не встретили их покорно, как было в других деревнях, — они мужественно отбивались с оружием в руках. Захватив деревню, белогвардейцы с помощью местных богачей устроили облаву на членов совета и дружинников. Целый день каратели обшаривали деревню, носились по лесу, по полям и, ловя советчиков и дружинников, гнали их в сборню, толкая в спины прикладами винтовок, хлеща плетями. К вечеру сборня была заполнена арестованными. Пришел офицер, просмотрел список.

— Все?

— Все.

— Отобрать самых ретивых!

Отобрали. Оказалось, что в Еловке только

«самых ретивых» тридцать шесть человек — третья часть всех мужиков. Под вой и стоны всей деревни их погнали на Каму и по дороге, в сосновом лесу, многих расстреляли (говорили, что тогда убежали двое — Смолон и Камышлов). Тринадцать человек посадили в баржу с виселицей.

К тому дню, когда привезли Мишку Мамая, в барже из его односельчан осталось двое: бывший председатель совета Степан Долин и член совета Наташа Глухарева. Сидели еловцы всегда на одном месте — на корме баржи. Степан Долин был пожилой, сложен угловато, с низко посаженной головой. В свое время он обладал недюжинной силой. Но на войне ему пришлось хлебнуть немецких газов, и он вернулся в деревню калекой: лицо безжизненное, точно вылеплено из светлой глины, широкую грудь рвет кашель... На первом же сельском собрании, задыхаясь, он заявил, что стал большевиком и будет не покладая рук защищать отвоеванную свободу. Степана Долина избрали председателем совета. На работе, тревожной и бурной, он потерял последние силы и, когда пришли белогвардейцы, лежал дома на кровати, окруженный ребятишками. Его подняли и под руки увели в сборню, а потом и на баржу. Здесь окончательно рухнули его легкие. Закутавшись в рогожу, он большую часть времени лежал и — очень часто — кашлял резко, безудержно, задыхаясь, отплевывая кровь.

Наташа Глухарева понимала, что дни его сочтены, и неотступно следила за ним — одежала потеплее, приносила воды, ободряла. Забота об умирающем Степане Долине — это было ее единственным занятием в барже, все же остальное время заполняла безбрежная, сжимающая сердце пустота или тягучие, ей самой непонятные раздумья. Каждую ночь ждала смерти, и это, точно знойный сухой ветер, выжигало душу...

IV

Гудки буксира, возвратившегося из Богородска, в трюме услышал только Иван Бельский (он всегда просыпался рано). Подняв голову, он прислушался. Ночью несколько человек расстреляли, и смертники, измученные страхом, крепко спали. По одну сторону от него — дружинники из Токмашки: Андреев, Самарцев, Потапов и Лошманов. Они лежали, крепко прижавшись друг к другу, и один из них тихонько бредил во сне: ругался, всхлипывал, вспоминал, какие в родной Токмашке леса, а в них — малина, орехи, грузди... По другую сторону — татары. Один из них, — Бельский знал: это Шенгерей, — стонал и чесал тело так сильно, что от него, кажется, должны были лететь лохмотья кожи. А дальше — по всему трюму — глуховатый храп и свист двухсот простуженных, надорванных и ослабевших людей. В затхлую, стоячую пучину трюма спускались из щелей

в палубе искусного плетения солнечные сети. Они висели неподвижно.

Иван Бельский начал было искать в темноте ведро с водой, чтобы умыться, — на палубе послышались возбужденные голоса. Потом заиграла гармонь, и разом всколыхнулся, ожил трюм.

— Бьют?

— Кого бьют?

— Господи, опять...

— Это так они... — густо протянул Иван Бельский. — Просто играют... от безделья.

— Просто! Ты послушай!

— Да, опять бьют, — звучно сказала Наташа Глухарева.

— А ты молчи, — тихо и строго попросил ее Бельский. — Не тебя бьют. Ну и молчи, не бреди души.

Гармонь замолкла. Быстро открылась крышка люка. Не успели смертники разглядеть, какое небо вверху, — Мишка Мамай кубарем слетел вниз и крышку захлопнули. Из темноты послышались голоса:

— Кто такой?

— Эй, друг! Откуда?

Мишка Мамай не отвечал.

— Кончен!

— Убили, гады!

Смертники бросились к лестнице. Иван Бельский протолкался вперед, ощупал Мамай, прижался ухом к груди. Тихо приказал:

— Воды.

Намочив подол рубахи, Бельский юбтер Мамаю лицо, и тот очнулся, сам поднялся, опираясь на руки. Услышав над собой теплое дыхание людей, пресекающимся голосом сказал:

— А утро какое... хорошее... Солнышко греет, река вспыхивает, такая она... веселая...

— Сам-то откуда? — спросил Бельский.

— Еловский... Да и тихо как...

— Вставай, пошли. Тут есть ваши.

— Кто? — встрепенулся Мамай.

— Председатель, говорят...

— А-а! Знаю.

— ... Наташа...

— Она?! Здесь?!

Мамай так скрипнул зубами, что некоторые смертники шарахнулись в стороны. А через минуту он лежал у ног Наташи и в беспредельной ярости скреб ногтями доски...

V

...Мишка Мамай был известен в деревне как гордый, горячий и бесшабашный парень. Последней весной, когда на Каме шумело половодье, с ним произошло что-то совсем непонятное. Был он работающий, прилежный, а тут начал отбиваться от дома, от хозяйских дел. Каждую ночь напивался, буйствовал, чуть что — бил у сельчан окна, раскидывал плетни, затевал драки... (За это буйство,

за горячий характер ему и дали прозвище — Мамай). Но утром, когда, поборов похмелье, он появлялся на улице, многие, забывая обиды, с завистью посматривали на него из окон, — во всей его крепкой фигуре было столько древней мужичьей силы и веселой лихости, что на него нельзя было обижаться, как и на весну, которая в эти дни подчас излишне буйствовала на земле. Ходил Мамай обычно в косоворотке табачного цвета, подпоясанный шелковым поясом с кистями, в шароварах почти цыганского покроя, пышно спадавших на голенища остроносых сапог. Высокий и складный, ходил он звериной легкой, порывистой походкой, заложив руки за спину и гордо неся в пене рыжеватых кудрей свою красивую голову. Встречая знакомого, он останавливался, смотрел прямо в глаза и, сдерживая усмешку, говорил отрывисто, резко, словно забивал гвозди...

Мужики толковали о нем:

— Ухарь! Огонь-парень!

— Этот не пропадет!

Зимой Мишка Мамай как-то вдруг полюбил солдатку-вдовушку Наташу Глухареву. Получив известие о смерти мужа, Наташа с год жила точно в забытьи, в своей избушке у пруда, кропотливо вела немудрящее хозяйство и, только когда слегка забылась боль, стала появляться на посиделках. (Замужем Наташа была меньше года, и девки, еще не отвыкнув от нее, охотно принимали ее

в свой круг.) Поздней осенью в деревне был создан совет. Проводя первые выборы, представитель из уезда, хотя и возражали мужики, предложил избрать членом совета женщину. Кто-то назвал Наташу Глухареву. Мужики согласились: «Ладно, пиши! Она одинокая! Пиши для счёту!»

К удивлению многих, Наташа Глухарева начала с увлечением заниматься мирскими делами. Подоит корову, натопит печь, приберется в избе — и живо в совет. Бежит улицей в синем саке, туго обтянувшем талию, а щеки горят, и длинные ресницы подернуты изморозью; по сугробам, черпая валенками снег, пробирается к избам, стучит в зеркала проталин на окнах:

— Бабочки, заходите, дело есть. Нас ка сается, всех! Заходите, я ждать буду.

Богачи жили все еще спокойно, держались уверенно и даже нагло, — они не влюбились Наташу и, встречая ее, издевались:

— Бегаешь? Порхаешь? Скоро шелковые юбки заводить начнешь? Торопись, теперь свобода! Твое — мое, а мое — мое.

Наташа сердито шурилась:

— Заведу скоро! Вот скрутим из вас веревки, тогда и...

— Ах, вертихвостка! Чтоб тебе ежа против шерсти родить!

— Да, скрутим! Довольно носить носы выше ветра!

И бойко бежала дальше.

Такой живой да задористой и заметил ее Мишка Мамай. Стал посматривать за ней. Бежала Наташа однажды в совет, да, чтобы сократить путь, направилась мимо огородов, по оврагу. И провалилась в сугроб. Мишка Мамай случайно увидел, подбежал, вытащил ее и, подняв на руки, понес, разгребая сильными ногами снег. Мишка уже хотел было поставить ее на ноги, да она забилась на руках, вырываясь, и он, взглянув в ее полыхающее румянцем лицо, сам не зная почему, хохоча, пронес ее до своего огорода.

С того вечера Мишка потерял покой. Он хотел видеть Наташу каждый день. Однако Наташа избегала встреч, а если, бывало, и встретится. — бросит несколько слов, часто ехидных. засмеется, запрокинув черноволосую голову, и быстро скроется... Но упрямый Мишка добился своего. Однажды Наташа позволила ему проводить ее, а у своих ворот неожиданно просто сказала:

— Погрей мне руки.

Мамай втянул холодные руки Наташи в рукава своего овчинного полушубка и стал их тискать пониже локтей. Чувствуя, что голова у него идет кругом, он говорил о чем-то горячо и бессвязно, а она, откидывая голову, хохотала... А потом попросила:

— Сдунь иней с ресниц.

Но в ту же секунду вырвала руки и, не

успел Мишка вымолвить слово, — скрылась в воротах.

Встречаться после этого стали чаще. Но Мишка Мамай не мог понять, как относится к нему Наташа; казалось, ее чувства меняются, как погода осенью. Встречала она обычно Мишку приветливо и, попадая в сильные руки его, становилась непривычно ласковой, а иногда, уступая, видно, тайной тоске по мужской силе, любовно перебирала его кудри и чуть внятно шептала:

— А ну, сожми меня. Силен ли?

Но сразу вырывается:

— Медведь! Ты легонько!

Проходило несколько минут, и Наташа, будто вспомнив что-то, становилась задумчиво-строгой и гнала Мамай:

— Уходи! И больше не являйся!

Мишка отшучивался:

— Так я и послушался, жди.

— А я говорю, чтоб ноги твоей не было!

— Наташа! Да ты что? У, дикая!

— Сгинь!

А приходил новый вечер, и они опять встречались. Мишка чувствовал, что с каждым днем Наташа, внешне оставаясь неизменной, все больше и больше тянется к нему, все больше начинает нуждаться в нем, и это радовало и окрыляло его. О, как жил в эти дни Мишка! От Наташи будто веяло свежим, бодрящим ветром, а из-под ресниц ее струился такой теплый, согревающий

сердце свет, что Мишка, побывав с ней часок наедине, уходил, не чуя под ногами земли.

Налетела весна. Случилось как-то так, что Наташа особенно сильно обидела Мамаю. Не выдержав, он загоревал и долго, не приходя к ней, буянил по деревне. А потом Наташа сама назначила свиданье.

Они встретились в воскресенье, за деревней, на опушке леса. Недалеко, в логу, паслись лошади; слышно было, как они пили воду из ручья, а потом, перейдя его, поскакали в мелкий березняк. Оттуда доносило горьковатый запах лопающихся почек и просыпающейся листвы. А в хвойном лесу было глухо, дремотно, — там все уснуло раньше, чем в других лесах. На опушке, широко раскинув листья, влажно дышал орляк. под ним теплились фиолетовые цветы сонной травы.

Мишка и Наташа сидели на сухом пригорке. Разговор не ладился; говорили больше о мелочах, о том, что мало интересовало. Опираясь руками о землю и немного откинув голову назад, Наташа сказала:

— Сонная трава зацвела. Как рано! Ты знаешь — она от порчи помогает. Надо будет сходить, нарвать...

— Ты что — порченная?

— Ага... — Наташа задумчиво засмеялась, оттолкнулась от земли, нагнула голову. —

Порченная, да... Муторно что-то, Мишенька, у меня в душе.

— Плюнь!

— Нет, себе в душу не плюнешь. Грешно.

По опушке косо ударил лунный ливень. Ярко осветился четкий, тонкого рисунка, профиль Наташи, тускло замерцали ее черные волосы, почему-то заплетенные сегодня, после долгого перерыва, в девичьи косы. Пряча лицо от лунного света, Наташа строго спросила:

— А ты что буянишь?

— Так... — уклончиво ответил Мамай.

— Не надо, Мишенька. Ишь, разбушевался! А зачем? Не надо. Я не люблю.

Она сунула руку под белую, в горошинах, кофточку, спросила настойчиво:

— Не будешь, а?

— Полюбишь — не буду.

— Нет, ты... Мишенька, а хочешь я тебе подарю что-то? Будешь любить меня?

Мамай схватил ее за плечи:

— Тебя? Да ведь я тебя...

Наташа вытащила из-под кофты шелковый, обшитый кружевами, кисет, — сегодня она делала все, как девушка...

— На. Только люби.

— Наташа! Уж ты!

Мамаю показалось, что внутри его что-то зазвенело. Он схватил Наташу, опрокинул ее наземь, впился в ее губы. Он целовал ее долго, жадно. Потом вдруг разом расстегнул

кофту и, когда увидел ее по-девичьи тугие груди, не трогая их, не целуя, припал к ним на несколько секунд головой... И опять начал целовать Наташу в губы. Она задыхалась, отбрасывала его кудри.

— Родная моя... — шептал Мамай.

— Уйди...

— Наташенька!

— Уйди! — Наташа поднялась, застегнула кофту. — Господи, что я наделала! Ты мне всю жизнь перевернул!

Отряхнув юбку, она быстро пошла к деревне.

— Наташа! — закричал Мамай. — Обожди!

Он догнал Наташу, обнял за плечи:

— Наташенька, дорогая, я сватов завтра пришлю.

— Не присылай! Откажу!

Мамай посмотрел непонимающе, как хмельной...

В эту же ночь отец Мишки Василий Тихоныч, прислушиваясь к гомону молодежи у пруда, строго говорил жене:

— В парне, я примечаю, кровь бунтуют. Ты не примечаешь? Слышишь, что сказываю?

— Слышу, слышу.

— Ты толком говори, как образумить?

— Толком и говорю: женить пора, что уж...

На том и порешили. А утром, улучив мо-

мент, когда отец один остался в горнице Мишка сел у стола и твердо сказал:

— Ищи сватов, тять.

Отец обрадовался:

— Дело, сынок, дело! — Он тоже подсел к столу. — Мы уж с матерью толковали. Сватов мы живо найдем. Сосватать — не лошадь променять. А, к примеру, кого?

— Наташу Глухареву.

Василий Тихоныч встал:

— Дурак! Иди, опохмелись лучше!

— Как хошь. Могу в отдел уйти.

— Мишка! — Василий Тихоныч побледнел. — Чтоб хозяйство рушить? Сукин ты сын! Не позволю!

— Ты не ругайся, тять... — спокойно и властно сказал Мишка. — Раз я задумал, — сделаю. И ты меня не стреножишь, не думай.

— Я?! — Василий Тихоныч заметался по горнице. — Да я из тебя, сукинова сына, щепок наколю! Что тебе — девок мало? Эка выбрал! Вдовую бабу! Дурак! Да случись, разве после кого-нибудь будешь доедать кусок? Чтоб кровь мешать? Не позволю!

Дня три шла ругань в семье Черемховых. Но Мишка уперся и добился своего (Василий Тихоныч побоялся, что упрямый Мишка — единственный сын — действительно уйдет из дома). К Наташе отправилась известная в деревне сватья — говорунья Манефа.

Вернулась она скоро и, только переступила порог, ехидно пропела:

— Пожалуйте, женишок... отказ...

— Что? — вскочил Мамай.

— А то... От ворот — поворот... — издевалась Манефа. — Позор на всю деревню! Спасибо, этого со мной не бывало. Толку нет уговорить бабу, а туда же — жениться.

— Нет, ты погоди... — перебил Мамай, двигая бровями.

— Пожожу. Годить — не родить. Ну?

— Что же она?

— А то...

Не слушая, Мамай вырвался в сени. «Так...» — сказал он, сжимая челюсти. Забежал в чулан, отыскал спрятанную в мочале бутылку с самогоном. Не отрываясь, выпил из горлышка. Ядовитое зелье ударило в голову. Мамай устало опустился было на ларь, но сразу поднялся, потряс кулаками:

— Так, значит!..

И вылетел на улицу.

Деревня уже спала. Где-то за околицей тихонько всхлипывала гармонь. Мишка бросился в переулочек, к пруду. Стадо гусей, ночевавшее в переулке, с гоготом поднялось с земли, гуси путались под ногами Мамаю, взлетали, хлопали крыльями, а он бежал и раскидывал их руками... Выхватив из ограды березовую жердь, Мамай кинулся вдоль огорода на окраину деревни, к избушке, стоявшей на отшибе, у овражка. Там жила воро-

жея. Подлетев к избушке, Мишка начал хлестать жердью по окнам:

— А-а, паскуда! Получай!

В избушке заголосила женщина.

— Обманула?! — гремел Мамай. — Получай!

— Грабют! Караул! — доносилось из избушки.

— Не кричи, выдра! Не кричи! — Мамай откинул жердь, подошел к разбитому окну, погрозил. — Пошуми еще, пошуми, ведьма! Ты мне что ворожила? Пойдет! За что я тебе муки таскал? Обманула, выдра старая! Вот возьму и столкну твою хибарку в овраг к ядреной-зеленой!

Расираваясь со старухой-ворожеей, Мамай вернулся в деревню, прошел к избе Наташи Глухаревой и, остановясь у ее ворот, растерянно сказал:

— Так... Что же делать?

Быстро решил:

— Опозорю!

Отыскал дома под навесом лагун с дегтем, вернулся обратно к избе Наташи. Хотел вымазать ворота. Но когда вытащил помазок и начал вертеть его в руке, удерживая стекающий деготь, — стало жалко Наташу... И он, шатаясь от хмеля и горя, пошел домой, чуть сдерживая рыдания...

Василий Тихоныч был обрадован отказом Наташи. Его ничуть не тревожило, что это, по словам Манефы, было позором для его

двора. «Позор — не дым: глаза не ест...» — рассуждал он, надеясь теперь, что Мишка скоро образумится, и они возьмут в дом хорошую девушку. Но Мишка не образумился. Василий Тихоныч распускал о Наташе нехорошие слухи, позорил ее, но и это не помогло. В сердце Мишки все так же, не угасая, горела окаянная любовь. Все свободное от дел время Мишка теперь стал просиживать под навесом, на чурбане. Он заметно похудел, а глаза его постоянно были налиты горячим зноем.

Однажды Василий Тихоныч присел рядом и ласково заговорил:

— И чего горюешь? Ну? Э-э, такую ли еще свадьбу завернем! Девки, слава богу, не перевелись.

— А такой не найдешь.

— Чего мелешь? Не клином на ней свет сошелся! Вон, скажем, у Архипа...

— Уйди, тять, — попросил Мишка. — Не досаждай.

— Но-но! Супротивный какой! Ну, и сиди, горюй, чорт с тобой! Смотри, как бы с горя вша не напала.

И Василий Тихоныч возненавидел Наташу.

Наступили страдные дни. Неожиданно появились белогвардейцы. Они с боем заняли деревню и, закончив расправу над советчиками и дружинниками, объявили мобилизацию родившихся в 1897—1898 годах в белую армию. Узнав, что придется идти в солдаты,

Мишка Мамай еще сильнее загоревал. Он относился равнодушно к любой власти и знать не хотел, какая из них лучше, какая хуже. У него была одна забота: как бы добиться любви Наташи. Он не терял надежд. Он ждал, что вот-вот Наташа (ее белогвардейцы не тронули) попросит прощения, станет его женой... Отъезд из Еловки в далекие края, да еще на войну, где могут и убить, — нет, это не входило в жизненные планы Мишки Мамаея. «Уедешь, а тут ее и приберет кто-нибудь, — со страхом думал он. — На нее охотники найдутся!» И Мамай твердо решил не ходить в солдаты. О своем решении сказал отцу.

— С ума спятил?! — испугался Василий Тихоныч. — Как не пойдешь, если забреют?

— Велика беда — забреют!

— Мишка! У меня без баловства! Тут шутки плохие!

Перед самым призывом Мишка выпил чашку густого табачного настоя, — слышал, что раньше так освобождались от солдатчины. Но здоровое сердце недолго стучало с переборами. Надо было сделать такое, чтобы наверняка забраковали на призыве. Тогда Мишка затащил под навес соседского мальчишку и ласково попросил:

— Петюша, слушай-ка... хочешь получить... ну, скажем, бурав? Или, скажем, рубанок?

— О! Еще как!

— Вот тогда бы ты начал мастерить разные штуки... Да?

— О, тогда что...

Мамай достал тонкий плотничный топор, обтер его о штанину, подал Петюшке и положил правую руку на чурбан.

— Руби палец!

Петюшка изумленно отступил:

— За рубанок?

— Ага! Только, смотри, один. Да сразу, смотри!

В глазах Петюшки засверкали слезы.

— Дядя Миша, мне жалко! Зачем рубить? Я и так рубанок возьму.

— Руби, знай! Да, смотри, молчок!

— Дядя Миша...

— Дурак! — сердито крикнул Мамай. — Или тебе рубанок не надо?

Петюшка швырнул топор и бросился из-под навеса. Мамай долго сидел на чурбачке, а вечером, когда нужно было отправляться в волость, — скрылся из дома.

... После полуночи Наташа проснулась. Все тело ее била мелкая дрожь. Надернув юбку, Наташа вышла в сенцы. Она отчетливо слышала, как под сенцами шуршало и раздавался приглушенный кашель. Выглянула в слуховое окошечко на двор. Вокруг — светлые сумерки, безмолвие. С листьев тополя стекает лунный свет. Подавать голос побоялась. С чувством необъяснимой тоски вернулась в избу и только было решила раздеться, —

на крыльце послышались шаги. «Не Мишка ли?» — пронеслась мысль. Настойчиво постукали. Прижав груди, Наташа приоткрыла дверь в сенцы, спросила:

— Кто?

— Отворяй, нужнейшее дело.

Отворила. Торопясь, зажгла лампу. В избу вошли староста Комлев, за ним — Василий Тихоныч и два солдата с серыми, помятыми лицами. Староста огляделся, дернул заячьей губой.

— Ну, сказывай: Мишка у тебя? А?

— Мишка? Вот их? Не бывал!

Перехватив беспокойные взгляды солдат, Наташа засуетилась, стала надевать кофту.

— Нет, нет, не видача.

— Ты скажи, если что... — скорбно промолвил Василий Тихоныч. — Надо в волость отправляться, а он пропал. Мысленное ли дело! Его, дурака, все на берег тянешь, а он — в воду. Видно, загулял где, что ли.

Не поверив Наташе, староста и солдаты заглянули на полати, под кровать, в подполье, а затем пошли осматривать с фонарем амбарушку, хлев, сеновал. Наташа ходила за ними босая, с растрепанными волосами, и не знала, куда спрятать дрожащие руки.

Осмотрели весь двор. Покачав кудлатой головой, староста поднял фонарь, чтобы задушить.

— Хм, сбежал, рыжий дьявол!

— Обожди, не туши, — попросил Василий Тихоныч.

— Что еще?

— Да ведь под крыльцо не заглянули!

Слабея, Наташа прижалась горячим плечом к стене. Солдаты полезли под крыльцо. Вскоре один сообщил оттуда:

— Нету! Одна шара-бара!

— Тьфу! Сгубил, стервец!

Они ушли. Едва сдерживая дрожь, Наташа вернулась в избу и, не раздеваясь, залезла под одеяло. Сон разметало, в голове копошились, мешая друг дружке, какие-то черные, непонятные мысли. Пахло теплой геранью. Застряв в ветвях тополей у пруда, месяц заглядывал в окно и ласково ощущивал бедное убранство избы.

С полатей вдруг послышался голос:

— Наташа! Не бойся, это я.

— Господи! Мишенька!

— Я, не бойся...

Мамай спрыгнул с полатей. Наташа схватила его за руки, несколько секунд смотрела в лицо и — уже в каком-то необычайном исступлении — прижалась к нему тугой грудью.

— Золото мое... — сказала со стоном. — Ищут ведь тебя, дорогой мой. Сам отец, видать, привел сюда.

— Знаю.

— Мишенька! Как же ты...

— К тебе-то? — беззаботно шептал Миш-

ка, глядя тяжелой рукой Наташину голову.— Просто! Заметил я их, да под крыльцо! А когда вы ушли под сарай, думаю — надо в избу. Туда, думаю, не пойдут больше.

— Мишенька, дружок, как же ты...

— Вот проститься зашел. А потом—в лес, на Каму. А на войну не пойду.

Присели на кровать.

— Одно хотел узнать, — сказал Мамай тихо и грустно. — Долго ли будешь ты... так, а? Эх, Наташа! Знаешь ведь — люблю тебя, люблю, и не знаю как...

Крепко прижал покорную Наташу.

— Веришь?

— Верю, — сказала чуть слышно.

— Ну, а что еще?

— Мишенька, дорогой, — заговорила, волнуясь, Наташа, — не сердись только. Я знаю, ты — добрый, не будешь сердиться. И я тебя люблю, верь мне. Сегодня я нищему гимнастерку отдала — мужнину, простреленную... Теперь я скорее забуду его. Мишенька, не сердись, я еще вспоминала его. Ведь это же не сразу, забыть-то надо, отвыкнуть. Ведь грешно, когда так, когда еще не забудешь...

Резко стукнули в дверь. В замешательстве Наташа забыла закрыть ее на задвижку, и сейчас она, скрипнув, отворилась. В избу ввалился староста с солдатами. Наташа отшатнулась, сказала, задыхаясь:

— Мишенька...

— Ага, попался! — крикнул староста.

Стиснув кулаки, Мишка встал, чувствуя, как в нем закипает та бесшабашная ярость, которую знала вся деревня. Но сдержался, сказал ехидно-спокойно:

— Кто попался?

— Ты! Ты сбежал!

— Я? От тебя первый раз слышу.

Староста озадаченно замялся:

— Хм... Не сбежал, говоришь? А?

— Нашел бы ты меня, если бы сбежал.

— А что на призыв не идешь? А?

— Видишь, с бабами прощаюсь.

— Ну, гусь!

На крыльце, когда Мамай уже махнул рукой от ворот, Наташа вдруг вцепилась в приотставших солдат, истерично закричала:

— И его увели! И его! За что?

— Кыш ты!

— А ну, оторвись!

— Ироды! Черви навозные! — кричала Наташа уже гневно.

Один солдат, ругаясь, подскочил к ней, схватил ее за волосы и молча сбросил с крыльца.

Утром Наташу арестовали. Когда пришли за ней, она в запальчивости бросила под ноги офицеру кипящий самовар. В тот же день ее увели на баржу с виселицей.

VI

Иван Вельский — рабочий из Бондюга, большевик. В барже он сидел уже с неделю

и был приметным человеком. Смертники любили его за ровный и, казалось, беспечный нрав. Он держался как-то особенно: баржа всех изломала, изуродовала, а у Ивана Бельского она не могла разбить даже простых житейских привычек. Каждое утро он умывался, чего никто, кроме него, в трюме не делал, причесывал деревянным гребешком волосы, а полрой пиджака вытирал в темноте сапоги. Все это он делал степенно, аккуратно, будто собирался в гости. И вздыхал бывало:

— Эх, бритвешку бы, пускай плохонькую... Исчезался весь.

Голос его, низкий и влажный, расстилался по трюму, как дым по траве. Некоторые смертники, привыкшие к обстановке, иногда не выдерживали, и в темноте трюма, точно пробужденный ветерком, прокатывался смех — сдержанный, глуховатый.

— Бритвешку! Ой, чудака!

— А зеркало не надо?

У Ивана Бельского не было определенного места в трюме. Он переходил от одной группы смертников к другой, и везде его принимали охотно. Говорил он всегда спокойно и серьезно, рассказывал обычно побасенки и чаще всего об умном, хитром солдате, родом откуда-то с Камы. С солдатом случались сотни приключений — и страшных, и смешных. Бельский рассказывал об этих приключениях так живо и ярко, что многие

смертники начали думать о солдате, как о живом, знали из какой он деревни, какая у него изба, как зовут жену, сколько у него детей, — и все восторгались его умом, житейской сметкой, способностью выходить победителем из разных неприятных историй! Перед глазами смертников — в полутьме с солнечными трещинами — часто мелькал этот солдат, и смертники нетерпеливо спрашивали:

— Ну, а дальше-то что? Ну, побаловался он с царицей, а дальше?

— С царицей — што... — спокойно отвечал Бельский. — С неделю, должно, и поблудил только...

— Узнали?!

— Сам царь поймал. На сеновале.

И начинал опять рассказывать.

Никто не знал, что Иван Бельский, веселя других, чувствовал себя плохо. Когда засыпали смертники, он садился где-нибудь в сторонке, сжимал колени, клал на них черную бороду и думал, думал торопливо; жадно, думал о себе, о том, как выручить друзей-товарищей из неволи, как спасти им жизнь. Он придумывал самые различные планы освобождения. И все отвергал. Но он не знал разочарования и усталости в своих тайных исканиях: ему почему-то казалось, что можно все же найти какой-нибудь выход. Засыпал Бельский крепко, но не надолго, — уснет,

точно свистнет, и опять встает, кладет на колени бороду, обдумывает свои планы.

...Мишка Мамай, большой и сильный, подбитый горем, долго метался на полу, стонал яростно скреб ногтями доски, тихонько спрашивал:

— За что они тебя? Что они сделали с тобой!

Наташа сидела рядом, она молчала, не утешая его...

В трюме часто происходили встречи знакомых, и обычно они вносили оживление в жизнь смертников, — так врывается в тишину ветер, и от голзвешек, почти задохнувшихся в тишине, опять летят искры... А эта встреча на всех подействовала удручающе. Все смертники поняли: Мишка Мамай и Наташа любят друг друга. Может быть, совсем недавно зацвела их любовь, ей бы цвести да цвести на воле, радуя всех, кому дорога красота жизни, а тут вот... Нет, гибло — у всех на глазах — что-то большое и хорошее-хорошее...

На этот раз не выдержал и Бельский. Изменив своим правилам, он забился под лестницу и весь день молчал, думая стремительно, запальчиво и все — о жизни, о воле... «Таких людей! Таких людей! — твердил он. — Как семена — на подбор! Нет, такие расти должны! Надо думать, думать...» И подчинив себя одной мысли, он уже не слышал ничего.

Баржа стояла. Многие солдаты уезжали на берег, на палубе было спокойно, а день был тихий, беззвучный, он не подавал о себе никаких вестей, точно обходил баржу далеко стороной, и от этого смертникам было не по себе — чувствовать себя живым хорошо, когда знаешь, что вокруг все — живое... А потом смертники с радостью поняли, что баржа стоит не в пустоте: послышалось дыхание воды, скрип уключин и голоса солдат, невдалеке крикнул пароход, еще хотел крикнуть, но осекся, будто не решаясь вспугивать с реки вечер. С поймы допахнуло запахом подопревшего сена.

Вскоре стали выводить на палубу—на расстрел. Иван Бельский не слышал даже, как открыли люк на корме. Он встрепенулся только тогда, когда кто-то из смертников уже поднимался по лестнице, а по всему трюму летали обрывки каких-то, плохо доходящих до слуха, слов... Как всегда в такие минуты, Бельский быстро направился к кормовому люку, — он знал, что там всегда нужен. Но только он подошел к лестнице, солдат нагнулся над люком, крикнул:

— Бельского! Да поскорее там!

В трюме почему-то вдруг затихло. Иван Бельский прислонился виском к лестнице..

— Гребись! Жива!

Бельский не откликнулся, и все смертники, удивленные его поведением, тягостно мол-

чали. Солдат обозлился, направил дуло винтовки в люк.

— Бельский! А, твою душу...

Тогда Иван Бельский шагнул на лестницу, но на середине ее остановился, спокойно сказал:

— Бельского? Хм... Поглядите на этих чудаков! Да его же позавчера расстреляли!

— Позавчера?!

— Хм... Забыли...

Солдат помолчал, потом обернулся назад, подозвал кого-то.

— Слушай, его нет. Позавчера еще...

— Как — нет? Он в списках!

— В списках! — посмеялся Бельский. — Канцелярия, видать, у вас!

Озадаченные солдаты посовещались и, недолго думая, вычеркнули Ивана Бельского из списка живых...

Этот разговор смертники слушали, затаив дыхание, — они были поражены спокойствием Ивана Бельского. Когда он спустился с лестницы, его обступили, потащили подальше от люка.

— Иван, что же теперь?

— Ух, как же это ты?..

— Подождем, — шептал Бельский, — поглядим, братцы.

А через несколько минут произошло неожиданное. Один молодой паренек из Елабуги, когда его вызвали на расстрел, по глу-

пости сказал то же, что и Бельский... Расстрел неожиданно прекратили.

До глубокой ночи не спали в трюме. Никто не знал, что произойдет, но все почему-то попрекали молодого паренька из Елабуги:

— Что ты наделал? Что?

— Эх, желторотый парень!

Все понимали: то, что сделал Бельский, — было хитростью, а что сделал елабужский паренек — было неумной трусостью.

На рассвете, когда смертники еще спали, Иван Бельский обнаружил, что молодой паренек из Елабуги повесился на лестнице. Бельский разбудил Мишку Мамай, сказал на ухо:

— Этот паренек-то... Пойдем, надо убрать.

Труп сняли, отнесли на нос баржи. Вернулись на свои места. Зябко вздрагивая, Мамай опустился на пол с таким чувством, будто сейчас отнес не чужое тело, а свое...

— Что он, а? Иван...

— Жалко. Молодой парень.

— Сказать надо... Вынести.

— Не выносят.

Утром узнали: поручик Бологов решил устроить проверку в трюме. Проверили всех по списку, перегоняя из одной части трюма в другую. И Бельского обнаружили, как лишнего. В ту минуту, когда он остался один в стороне, у всех смертников сжались от боли сердца. Все поняли: он погиб. К Бель-

скому подошел поручик Бологов, прищурился:

— А ты кто?

— Чугунов я... — ответил Бельский, — Иваном звать. Иваном Евсеичем.

— Почему в списках нет?

— Не могу знать, ваше благородие.

— За что посажен?

— За глупость свою.

— Верю, — съехидничал Бологов. — Умный сюда не попадет. — И повернулся к солдатам: — Запиши, Ягуков. Чорт знает, какой у тебя беспорядок в списках!

И опять смертники подивились выдержке и находчивости Ивана Бельского. Растеряйся он — и конец! За обман его бы не помиловали. После этого случая смертники окончательно убедились, что Иван Бельский гораздо крепче, чем другие, умеет держаться за жизнь. И за это полюбили его. И особенно полюбился он Степану Долину. Через некоторое время после проверки Долин подозвал Бельского, откашлялся и попросил:

— Сядь, посиди рядом.

Костлявыми руками нащупал Бельского, сказал тихо:

— Дай руку. Вот так... Я подержу.

— Тебе что-нибудь надо? — спросил Бельский.

— Нет... Я все лежу, не видел тебя. Ты — большой, а? Ростом?

— Так себе, средний.

— Лет много?

— Под сорок кафит.

— Ну, я постарше... Кха! Масти-то какой?

— Черный. Как ворон.

Помолчали. Иван Бельский укрыв Долина рогожей.

— Вот и познакомились.

Откинув голову, Долин сказал вдруг далеким и надорванным болью голосом:

— Жить тебе надо, Иван, жить.

И резко закашлял.

— Всем бы надо жить, — возразил Бельский.

— А тебе — особо...

— Почему же?

— Так. Ты в упор смотришь на жизнь. Я вижу. Тебе жить надо.

Степан Долин поднялся на локоть.

— Вот меня... кха!.. обломала жизнь. Знаешь, как в лесу бывает... Вылезет из земли сосенка, ей, понятно, свету надо, солнца. Она... торопится расти. А солнце от нее... кха! кха!.. закрывают другие деревья, давят ее. Она и так... и сяк изгибается, все хочет на солнце посмотреть. И вот, глядишь, выбилась на свет божий. Обрадовалась, зазеленела. А посмотри на нее — она... кха!.. вся кривая, не годится в поделку. Ее только так, на дрова. Вот так и со мной случилось. Теперь, если чудом и спасусь, — куда я...

Он опять закашлял, стал отплевывать кровь. Иван Бельский положил его голову на свои колени, стал гладить и перебирать

волосы, а потом вдруг нагнулся и порывисто прижался виском к виску Долина. И сказал тепло и тихо:

— Степан, друг, крепись. Мы еще проживем. И ты еще погодишься в поделку, не горюй.

И они, не видя в темноте друг друга в лицо, стали друзьями.

VII

В полдень баржа с виселицей опять остановилась — у деревни Шураны. Смертники давно требовали соломы. Поручик Бологов неизменно отказывал. А сегодня, задумчиво бродя по палубе и осматривая просторные прикамские поля, вдруг подозвал своего любимца — солдата Захара Ягукова и сказал:

— Захар, а я думаю дать им соломы, а?

— Ладно им и так!..

— Ничего ты не понимаешь, Захар.

Ягуков замигал, соображая.

— Чудак! Это получится очень забавно.

И баржу остановили. Захар Ягуков сходил в деревню с бумажкой от поручика, мужики подвезли к берегу три воза ржаных снопов и их начали перевозить в лодках к барже и сбрасывать в трюм.

Никогда не было так легко и весело в трюме, как в эти минуты. Обрадованные смертники расхватывали снопы, разносили по трюму, устраивали постели, и трюм был полон их возбужденных голосов:

- Вот теперь заживем!
 - Теперь хоть кости вздохнут!
 - А поручик ничего, сговорчивый.
 - Не сглазь!
 - Ребята, делить по-честному!
 - Ну и логово будет!
- И некоторые хохотали даже.

А устроились — замолкли. Снопы были свежие, недавно обмолоченные. Рожь собрана с засоренного поля — в снопах было много васильков, желтой ромашки, золотистого осота. Свежая солома хранила тонкие, зовущие запахи степного раздолья. Большинство смертников было из крестьян; им близок и понятен был немой рассказ соломы. Она пробудила у всех множество воспоминаний о воле. Каждый увидел просторный, с гребнями лесков, разлив прикамских полей. Как хорошо сейчас в полях! Земля уже слышит осторожную поступь осени и начинает подчиняться ее законам. Покрытые позолотой поля уже окутывает чуть грустное осеннее безмолвие. По жнивью бродят стада гусей. Где-нибудь, словно брошенная севцом горсть зерен, упадет на жнивье стая скворцов. На озимых клиньях — одинокие, запоздавшие пахари, они ходят понуро, не разгибая спин. По пустынным проселкам иногда проносятся, неистово кружась и приплясывая, столбы пыли. Уже созревает одинокий в полях заячий орех, начинает рдеть шиповник...

И, увидев родное, все смертники почв-

ствовали страшную тоску. Все лежали молча, многие настойчиво отбивались от воспоминаний, а солома — свежая да пахучая — все твердила и твердила свое.

Особенно сильно страдал татарин Шенгерей. Он попал в баржу за то, что заколол вилами одного белогвардейца, когда тот пришел к нему отбирать бывшую барскую лошадь. В первые дни заключения Шенгерей сильно горевал, был сосредоточен и хмур, потом смирился и по привычке уступать судьбе ждал конца безмолвно и покорно. В барже Шенгерей простудился, его тело покрылось язвами, коростой. Ночами он сильно стонал, чесал тело, а днем — неутомимо молился. Разговаривал редко. Увидев снопы, он сразу лишился покоя, начал развязывать и вновь связывать их, улыбаясь, и роняя слезы, нюхал солому, мял ее в руках. А когда случайно нашел несколько зерен, — со стоном зарылся с головой в солому.

Он лежал так долго и многое увидел. Он увидел в долине, оцепленной молодым дубняком, родную деревню — соломенные крыши изб, острый шпиль мечети с золотым рогом полумесяца. Увидел свой двор у пруда: низенькую избу о двух окнах, чахлую березку у ворот, ветхий сарай, из-за неуютности покинутый даже воробьями, рыжую собачонку у крыльца. Увидел и жену Фатыму — маленькую усталую женщину; она шла с поля с граблями на плече, а за собой та-

шила самодельную коляску с дочкой, от двора навстречу ей бежала орава крикливых, голодных ребят.

С трудом вырвался Шенгерей из этого тягостного мира видений. А вырвался, поднялся — и вновь, как в первые дни, со страхом начал думать о смерти. Сильно, крепко любил он жизнь. Со всем, что окружало его с детства, надежно сжился. И ему было больно от мысли, что его вырвут из жизни, точно сорную траву с поля. И он, не сдерживая слез, раскачиваясь, тихонько запел о том, как хорошо сейчас в полях, на воле, и как не хочется умирать.

В глухой тишине трюма эта песня зазвучала с какой-то особенной, тихой, но надрывающей душу силой. В воображении смертников она еще более оживила поля. Теперь они развернулись перед каждым во всей своей задумчивой предосенней красоте. В песне Шенгеря все отчетливо услышали затихающее, но приятное биение жизни родимых полей: отдаленный стукоток таратайки на проселке, озабоченный шумок прилетающих на кормежку птиц, посвист ветра, чуть внятный шелест гонимого нивесть куда перекаати-поля...

...Иван Бельский подполз к Шенгерю.

— Ты, друг, помолчи-ка...

Но Шенгерей продолжал тянуть свою песню, будто сматывал бесконечную нить.

— Фу, дьявол! Прорвало его!

— Пусть ноет, — сказал Мишка Мамай.

— Уж больно длинно. Воеет и воеет. Тьфу!
А Мамаю нравилась песня, и он жалел, что не может подтянуть татарину. Он сидел на снопах, прижав к себе голову Наташи, гладил ее волосы и тоже думал о воле. А что думал, и непонятно было, — думы неслись порывисто и бестолково. Изредка он что-нибудь говорил Наташе.

— На уток бы сейчас... На сидку.

— Да, хорошо, — покорно соглашалась Наташа.

— Сидишь, а тут тебе — шасьт!..

И через минуту — о другом:

— А помнишь, как сидели?

— Все помню.

— Кисет, вот он....

— Терпи, Мишенька.

Баржа шла. Тяжело плескалась вода, в трюм врывалась прохлада, — уже вечерело. Из темноты все еще струилась песня Шенгеря, и в ней все отчетливее слышались вздохи прикамских полей, их сиротские жалобы. Временами казалось, что песню поет уже не Шенгерей, а кто-то другой, и не в трюме, а издалека, из глубины полей. Песни всегда возбуждали Мамаю. Неожиданно он схватил Наташу за плечи, стиснул, сказал глухо, в большом волнении:

— Что делают!.. А?

Наташа испугалась:

— Мишенька, молчи!

Но Мамай уже оторвался от нее, крикнул на весь трюм:

— Эх, мужики! Какое наше дело!

Его сразу поддержали:

— Сейчас на ногах, через час — в могиле.

— Не дадут и могилы!

— Как собак...

— Лучше бы сразу, чем сохнуть.

— Ух, тошно! — пожаловался Мамай.

Бельский крикнул:

— Ты долго будешь точить?

— А ты спи, спи!

— Да что ты плачешься?

— А это моя воля: хочу — смеюсь, хочу — плачу.

И, помедлив немного, продолжал:

— Да за что? За что, я спрашиваю?

Заговорили по всему трюму. Стала быстро нарастать тревога. Смертники зашевелились, зашуршали соломой, начали ползать и бродить по трюму. Всюду назойливо, как мошкара, летали слова о смерти.

По палубе, стуча прикладом винтовки, прошел солдат. Гул голосов в трюме мгновенно замер. Часовой остановился на корме, кашлянул, щелкнул затвором винтовки. Этот звук камнем упал в трюм, — опять он всколыхнулся, заволновался. Покрывая голоса, Мамай выдохнул:

— Опять!..

— А тебе что — доложили? — сердито оборвал его Бельский.

Кто-то, волнуясь, стал убеждать товарищей, что он посажен безвинно, что его не надо убивать, и уговаривал так, словно от товарищей зависело решить его участь. Кто-то истерично крикнул. И началась паника, какая случалась редко. Смертники заметались по трюму, путаясь в соломе и падая, слышались стоны, рыдания...

Наташа схватила Мамай за шею, прижала к себе.

— Горячий ты какой, пылаешь весь.

Мамай замер, не понимая, что случилось. Он с ужасом прислушивался к гаму в трюме и не знал, что делать, и боялся, что смертники почему-либо кинутся к ним и подомнут под себя.

Подполз Иван Бельский. Мамай начал хватать его за руки.

— Уйми их, уйми!

— Дурак ты.

— Скажи им...

— Молчи, — посоветовал Бельский. — Кричать не надо. Нельзя. Это пройдет.

До глубокой ночи бушевали смертники. Рыдали, рвали на себе одежду, стучали в люки, похабно и зло ругались. Казалось, корпус баржи трещал от их стонов. А баржа шла, и ночь была тихая, и с небосвода осыпались густо налитые звезды, а низко над рекой кружились летучие мыши и в полесье вольготно промышляло зверье...

На расстрел не выводили.

VIII

Буксир тяжело вздыхал, натягивая мокрый канат, и выбрасывал в меркнувшее небо хлопья бурого дыма. Баржа лениво рыла реку и точно фыркала, — от носа летели брызги. Над баржей летала чайка. Она трепетала в воздухе, зорко посматривая бирюзовыми глазками, на секунду замирала, раскинув тугие крылья, потом стремительно, как сраженная, бросалась вниз, чуть касалась лапками воды и опять, жалобно крича, набирала высоту. Чайка летела за баржей долго, сокрушенно покрикивая, словно хотела убедить поручика в чем-то важном и сокровенном. Бологов сидел на груди березовых дров, трепал за уши черную собаку и, чувствуя, как в нем возрастают поднявшиеся с утра смутные предчувствия близкой беды, сердито шептал:

— Вот тварь! И что ей только надо?

Хрипло крикнул буксир, — чайка отпрянула, заметалась позади баржи. Бологов поднялся и увидел: буксир заходит в излучину, а наперерез ему, к правому гористому берегу, торопливо двигалась рыбацья лодка. Но рыбацкостарик все же не успел пересечь стержень. Буксир опять сердито крикнул, и ему пришлось остановиться, лодку понесло вниз по стремнине, мимо буксира. Бологов быстро подбежал к правому борту, вскинул руку:

— Эй, старина! Чаль сюда!

Защищаясь ладонью от косо скользящих по реке лучей вечернего солнца, старик молча

посмотрел на баржу. Лодка покачивалась на встревоженной реке, в волнах билась ее большая тень.

— Эй, ты! Не слышишь?

— А-а? — тревожно отозвался старик.

— Давай сюда! Гребь сюда, старый хрыч! — Бологов погрозил кулаком. — Оглох? Гребь сюда, а то...

Звонко залаяла собака.

Лодка подошла к барже. Рыбак привязал чалку за лесенку, спущенную с баржи, разогнулся, опасливо посмотрел вверх — на Бологова, на виселицу, на черную собаку. Лодка шла, и левое весло, поставленное ребром, с шумом разрывало тугое полотно воды. Рыбак был рослый и сухой в кости, в коротком брезентовом пиджаке, облепленном рыбьей чешуей. Изпод выцветшего картуза с расколотым козырьком выбивались седоватые, как ковыль, волосы. Но видно было, что старик еще крепок, как хороший дуб, у которого только вершину тронуло время. Это был Василий Тихонич Черемхов. У ног его, на дне лодки, лежал связанный бечевой, израненный шалами¹ осетр, — он вздрагивал, выгибал спину, покрытую тускло поблескивающим панцирем, раздвигая жирные щеки, оголяя густую бахрому жабр.

Согнувшись над бортом, Бологов спросил:

— Осетра поймал?

¹ Ш а л ы — рыбацкие снасти.

— Вон осетришко... — нехотя ответил старик и, чуя недоброе, сердито пошевелил усами. — Нынче хороших осетров еще не видал. А что?

— Давай его сюда!

— Осетра? Это как — давай? — Василий Тихоныч бросил на поручика недобрый взгляд. — Нет, служивый, чтобы рыбку есть, надо в воду лезть. Слыхал?

Бологов улыбнулся:

— Вон что! Значит, поговорить хочешь?

— И поговорю! — резко ответил старик, решаясь, видно, на все. — Ты не пугай меня! У меня, видишь, — волос седой. Нет, не пугай! Не запугаешь шуку морем! Слыхал?

— Так... — холодно заключил Бологов. — Значит, поговорить хочешь? Да? А ну, водяная крыса, лезь сюда! Лезь! Живо! Ну?

Голова Бологова вздрагивала на тонкой шее. Сухонький, затянутый в ремни, он стоял у борта, широко расставив ноги, и нервно хватался за кобуру нагана...

— Бери, что же...

Дернув усамя, Василий Тихоныч поднялся по лесенке, бросил на палубу, под ноги поручику, конец бечевы, которой был связан осетр. Бологов рывком поднял осетра на воздух, — он забился, растопырив розовые плавники. А Василий Тихоныч сел в лодку, резко оттолкнулся от баржи и, подняв весла, начал бить ими так, что лодка скачками пошла к берегу.

— Змея подколодная! — ворчал старик. —
Хоть бы бечеву, сукин сын, отдал!

Старика душила обида.

Солдаты конвойной команды, увидев поручика с осетром, высыпали из кают, сгруппировались около кухни.

— Ловко!

— А хорош, шельмец! На пуд!

— Больше будет! У меня глаз наметан!

— Эх, и заварим ушицу, братцы!

Захар Ягуков, толстяк с головой филина и мутно-желтыми глазами, выхватил из-за голенища правого сапога нож, опустил на колени, хлопнул ладонью затихшего осетра.

— Руби дрова! Готовь ложки!

— Обожди, — остановил его Бологов. — Дай сюда нож! Не видишь — икрный.

Ловко расхватив широкое белое брюхо осетра, Бологов начал осторожно выбирать в чашку серо-сизую икру. Облизывая измазанные клейкой икрой руки, он встряхивал головой, покрикивал:

— Подвинь чашку! Дай соли!

Солдаты с уважением следили за поручиком.

Посолив икру, Бологов приказал:

— На ужин уху! На всех!

А когда он поднимался с палубы, взглянул случайно остановился на тонкой бечевке, которой был связан осетр.

— Да, кстати... надо сбросить этих... — Бологов показал на виселицу. — Смердят уже.

Пока уха варится — надо заменить. Веревки есть?

— Да вышли все, господин поручик!

— Подайте в таком случае эту.

— Кто будет вешать? — живо спросил Ягуков.

— Сам повешу.

Через минуту два солдата — Терентий Погорельцев и Сergyа Мята — подошли к виселице. Солнце уже спряталось за взгорьями, но над землей еще текли волны света, и повешенные — пожилой в лаптях и молодой с чубом — были ярко освещены закатом. Сergyа Мята поморщился:

— Верно, воняют.

— А крепкие, как кремень, были мужики, — вспомнил Терентий Погорельцев. — Крепкая порода! Ну, давай сбросим.

Петли обрезали. За обрывки веревок подтащили трупы к борту, сбросили в реку. Терентий Погорельцев обтер руки о штаны и пошел прочь, а Сergyа Мята остановился у борта и долго задумчиво смотрел в зеленоватую, мутящуюся пучину реки. И грустно думал: «Вот... поплыли... Господи! Кто их похоронит?» Губы его были плотно сжаты.

IX

Заглянув в список смертников, поручик Бологов вышел из каюты, вертя на пальце ключ. Следом за ним потянулись солдаты — Ягуков,

Погорельцев, Серьга Мята. Открыли люк. Из трюма баржи, залитого мраком, дохнуло сыростью и резкими запахами тлена. Бологов отвернулся, передохнул, потом решительно опустил по пояс в люк. В затхлой барже, как в подземелье, забился его голос:

— Черемхов! Михаил! Выходи.

В трюме стояла тяжелая тишина.

— Опять старая песня? — спросил Бологов. — А ну, не задерживайся! У каждого свои дела.

— Заработался, гад! — донеслось из глубины трюма. — Обожди, дай сапоги и рубаху снять. На, Шенгерей, носи...

Баржа ожила. Замелькали силуэты людей. Зашумела солома. И вдруг весь трюм всколыхнул горячий крик:

— Мишенька! Миша...

Закипела разноголосица. Нельзя было понять — кто и что кричал... Мишка Мамай совершенно не соображал, что он делал. Кажется, целовал Наташу, — рыдая, она металась на соломе. Кажется, еще кого-то целовал, что-то говорил друзьям... Его опять позвали. В состоянии полной отрешенности, без всяких чувств он пошел к лестнице, отстраняя в темноте десятки рук. Когда Мамай был уже у лестницы, его опять горячо ожег крик Наташи. Стиснув зубы, он взглянул на клочок вечернего неба и почти выбежал из трюма.

У люка остановился, передохнул, откинул

со лба кудри. Вечер мягко крался по земле, ничем не нарушая окрепшей тишины. От высокого правого берега падала на реку тень. Там, в тени, уже светились бакены. На отмелях взлетали брызги, слышался плеск, — хищные судаки гонялись за стаями сорожек. На заплесках левого берега догорали осколки вечерней зари. Засыпали тальники. Далеко, близ одинокого осокоря, подпиравшего широкими плечами темносиний шатер неба, уже порхала вечерняя звезда. В теплом воздухе разливался терпкий пьянящий дурман, — или с лугов тянуло прелыми травами, или так жарко дышали ели.

Взглянув на Каму, Мишка Мамай сразу почувствовал себя бодрее, тверже на ногах. Он торопливо, на лету, схватывал мельчавшие картины погожего вечера и звуки его — плеск рыб на отмелях, свист пролетающих уток, дремотный шопот тальников, далекий лай собак... Он воспринимал все великие и малые проявления жизни, на него со всех четырех сторон будто налетели свежие ветры. Даже мысль о том, что его ожидает, на мгновение отлетела, — так быстро и остро он почувствовал себя опять разветвленным в мире. «Ну, вечерок!..» — взволнованно подумал Мамай и вздрогнул и пошатнулся, и пошел, окруженный солдатами, к виселице, пошел, неровно переставляя босые ноги...

Поручик Бологов стоял у виселицы. Он был подчеркнуто спокоен. Усталые рав-

нодушные глаза его светились тускло. Поручик держал в руках шляпу подсолнуха и неторопливо, без особенного удовольствия, щелкал семечки. То, что он неспеша вытаскивал из гнезд семечки и раскалывал их на зубах, вяло, бесстрастно, — вдруг приняло для Мишки Мамаея сокровенный, тревожный смысл и он смотрел на поручика, широко раздувая ноздри... Бологов бросил за борт шляпу подсолнуха, бросил так нарочито небрежно, словно старался дать понять, что вот так выбросит и жизнь Мишки — легко и бездумно. Указал на ящик, предложил:

— Садись, посиди.

Мамай молчал. Стоял он прямо, опустив окаменевшие руки, без рубахи, босой. Изредка зябко вздрагивал. Вид у него был болезненный: лицо осунулось и потеряло живой цвет, скулы острые, тонкие губы плотно сжаты, а глаза пусты и глухи, как ночь.

— Быстро изменился, — заметил Бологов.
— Одного рака горе красит.

Мамай опустил голову. Бологову показалось, что отвечал не он, а кто-то другой, стоящий позади, — голос у него был глухой и тяжкий.

Бологов сожалеюще вздохнул:

— Смерти-то боишься?

— Дурак ты! — весь подернулся Мамай. — Привязался, как репей.

— А как ты...

— Вешай, сволочь! — Мамай сжал кулаки. Бологов резко подался вперед.

— Спокойно! Здесь не митинг! Сейчас повешу.

Поднялся на табурет, начал привязывать тонкую бечевку за перекладину виселицы. Никто из конвойной команды не умел так подготавливать повешение, как Бологов. Все солдаты делали это с какой-то воровской торопливостью, а он спокойно, не спеша, и пока делал петлю — некоторые падали у виселицы замертво или теряли рассудок... Он и сейчас, не изменяя своим правилам, готовил петлю неторопливо — примерял, завязывал узлы, распутывал, снова завязывал.

Мамай не вытерпел:

— Завяжи калмыцкий узел!

— Калмыцкий? Пожалуй, верно.

И когда Бологов начал завязывать калмыцкий узел, — веки Мишки Мамай дрогнули, Казалось, только теперь до его сознания дошло и обожгло, как молния, что скоро — конец. Он беспокойно оглянулся вокруг. Буксир тяжело пытел, выбрасывая хлопья дыма. От его кормы вился пышный павлиний хвост взбудораженной воды. Кама тускло мерцала. Вечер, как и прежде, мягко крался по земле. Все земное жило, но Мишке показалось, что мир, близкий и понятный, стал необычайно маленьким, — баржа, солдаты с винтовками, виселица, поручик, делающий

петлю, — вот и все. Мишка чувствовал, как все задышается и холодеет в нем...

— Ну-с, готово! — сказал Бологов и начал натирать петлю мылом.

На буксире зазвенели склянки. Надрывно дыша, Мамай напряженно следил за движениями рук поручика. И вдруг, как всегда в минуты бед и опасностей, он почувствовал, что в нем бурно поднимаются те дикие силы, которые всегда бросали его в дерзкие, лихие дела... Он не знал, что можно и нужно сейчас делать, но это только с каждым мгновением сильнее разжигало его силы. Он знал одно: он хотел жить долго, долго, полный век. Он решительно отказывался покориться судьбе. Все его существо негодовало и бешено сопротивлялось насилию. Он продолжал жить, да еще стремительней, чем прежде, и глаза его теперь опять играли, точно сделанные из ртути.

— Петля хорошая получилась...

Бологов поправил вату в ухе и, зажав в руке мыло, начал примерять петлю, — это был тот момент, когда обреченные, вскрикнув, падали... Надев петлю на шею, Бологов подмигнул:

— Ничего, хорошо...

Но только он поднял голову, Мамай остервенело ударил ногой по табурету. Бологов взмахнул руками и, сыто икнув, повис в петле.

Мамай метнулся к борту. Прыгнул. Вода со стоном раздалась. Мамай старался как

можно дальше уйти под водой, рывками бросая тело вперед, а когда вынырнул — мельком взглянул на баржу, — увидел солдат, суматошно бегавших около виселицы, и порывистыми бросками поплыл к берегу, где низко над рекой склонились ветлы.

Повиснув в петле, Бологов крепко зажал в правой руке кусок мыла и подтягивал ноги. Глаза выскакивали из орбит, наливались кровью.

— Нож! Нож! — закричал Ягуков.

— Нету! — выдохнул Мята.

— В каюту! Живо!

Лицо Бологова покрывалось сине-багровыми пятнами. Он разжал руку, выронил мыло. Ягуков и Погорельцев схватили поручика за ноги, приподняли, ослабили петлю. С тревожными криками налетели солдаты и матросы. Петлю обрезали. Бологова положили на палубу. Он с минуту лежал неподвижно, закрыв рот, потом порывисто закашлял, брызгая пенистой слюной и содрогаясь всем телом.

Солдаты облегченно вздохнули:

— Жив!

А Ягуков спохватился:

— Братцы! А этого-то, этого...

Мишка Мамай плыл наперерез течению. Мимо неслись затонувшие ветки, обрубки дерева, клочки пены. «Только успеть, только успеть...» — эта мысль билась неотступно. Напрягая все силы, Мишка далеко закиды-

вал руки, рассекал грудью воду, фыркал встряхивал головой, — все его тело с бешенством рвалось к берегу, в темноту.

Вокруг стонуще забулькало. «Стреляют!» — догадался Мамай и опять, рискуя окончательно выбиться из сил, ушел под воду. Стиснув зубы, он разгребал руками воду, отталкивался ногами, но сам хорошо понимал, что очень медленно пробивается вперед. Руки слабели, становились тяжелыми и непослушными. Нехватало воздуха, голова пухла, наливалась зноем, а легкие, казалось, рвались в клочья...

Ударился обо что-то плечом. Вынырнул. Оказался рядом с толстой ветлой, обвалившейся в реку, стал хвататься за сучья, подтянулся к стволу, покрытому лохмотьями сгнившей коры. Взглянул на реку. Баржа, обогнув голый мысок с кудрявой сосенкой на вершине, уходила в излучину. Солдаты не стреляли. Мамай навалился грудью на скользкий ствол ветлы и, вздрагивая, устало закрыл глаза.

Х

Рыбацкая землянка Василия Тихоныча находилась на правом берегу Камы. Она была вырыта в обрыве. Над обрывом вздымались кудлатые сосны и разлапистые ели, крепко сцепившиеся ветвями; они точно защищали взгорье от наступавшего с берега мелколесья. Ниже по течению, в версте от землян-

ки, был большой овраг. Мелколесье настойчиво, но безуспешно ползло на откосы, занятые неприступным сосняком и ельником. По дну оврага, путаясь в полегшем тальнике, пробивался ручей. С берега он шумно падал в Каму. В этом месте вода всегда кипела, а от него в глубину реки скатывалась песчаная коса, на которую ночами выходили плескаться семейки игривых стерлядей.

Приехав с рыбалки, Василий Тихоныч долго сидел на лодке. Как-то враз отбило охоту к работе. И только когда начало темнеть, кое-как собрался развесить для просушки щалы. Развешивая, все думал о поручике, который отобрал осетра, и сердито шептал:

— Экое поганое племя! Вроде клопов. Пользы никакой, а кровя пьют... Эх, ты, жизнь наша распоганая!

Жизнь Василия Тихоныча напоминала мелководную, безымянную речушку, каких множество на нашей земле. Возьмет такая речушка начало из горных расщелин и первое время беззаботно, звонко катится по камням. А потом на пути начинают встречаться преграды. Приходится блуждать по зарослям лесов, пробиваться сквозь тину болот, нагромождения камней... Такую речку запруживают на каждой версте, всюду заваливают навозом и отбросами. И много, много требуется сил, чтобы укрепить ей и завоевать уважение у тех мест, по которым приходится прокладывать путь.

Свое детство Василий Тихоныч, по его мнению, прожил хорошо. Но умер отец, и ему пришлось хлебнуть горя. С юных лет начал сам добывать кусок хлеба. Ходил на Урал, искал кому-то золото, сплавлял по Каме чей-то лес, а когда совсем состарилась мать — женился. Сколько труда он вложил в землю и хозяйство, чтобы подняться и окрепнуть! Он слыл человеком неистощимой силы, ловкой хозяйской сноровки. Он сам делал все, что требовалось для семьи и двора. Надо что-нибудь построить, — берет топор и строят. Надо печь в избе переложить, — переложит. Зарежет овец, — сам овчины выделает, сам шубу сошьет. Требуются валенки, — живо скатает, да еще какие! Нужны сапоги, — и сапоги сошьет. Он с жадностью брался за любое дело, которое могло принести хотя бы маленькую выгоду двору. Летом не только работал в поле, а урывал время, чтобы надрать лыка, собрать корья, порыбачить, зимой — плел корзины, занимался извозом, охотничал... Василий Тихоныч не без гордости говорил:

— На моем дворе чужая рука кол не забьет!

С большим трудом Василий Тихоныч укрепил свое хозяйство, стал уважаемым человеком в деревне. После революции, получив еще немного земли, он стал мечтать уже о спокойной, зажиточной жизни. В первое время ему нравились большевики — непосед-

ливые, беспокойные люди, постоянно будоражившие мужицкие умы разными новшествами, дерзкими идеями. Василию Тихонычу, от природы тоже подвижному и энергичному, они пришлись по душе. Но вскоре он серьезно поссорился с большевиками. И поссорился из-за хлеба. Весна обещала хороший урожай, но многие в деревне толковали, что она обманчива, — только начнут наливать хлеб, и сожжет их суховей. Да и время было смутное, неустойчивое. А Василий Тихоныч был расчетливый человек, он не хотел впасть впросак. И, глядя на других, он припрятал хлеб. Главный деревенский большевик Степан Долин долго уговаривал его.

— Тихоныч, — говорил он, хрипя, — давай хлеб, помогай власти. Своя власть-то! Не сможешь, — прогадаешь.

— Меня не учи. Не прогадывал еще.

— Добром отдай.

— А зубы куда? На полку?

— Лишнее отдай.

— В хрестьянской жизни ничего лишнего не бывает. Из земли — да в землю.

Хлеб нашли, отобрали. Это так оскорбило Василия Тихоныча, что в нем закипела глухая злоба против большевиков. В тот вечер, когда у него отобрали хлеб, к нему в дом пришел богатый сосед — бывший староста Комлев. Они долго беседовали в горнице.

— Ну, как? — спросил Комлев. — Обжегся?

— Не говори! Наголо обстригли! Сто пудов! А рожьто, как золото! Хоть на нитку нанизывай. И — как в прорву... Сто пудов...

— Да-а... — протянул Комлев и подернул заячьей губой. — Средь бела дня обирают. А вон меня — задушили контрибуцией. А за что? Последнюю собаку со двора приходится гнать.

— В том и суть. — Василий Тихоныч сокрушенно покачал головой. — Попал я... — заговорил он. — Ты видел, какие я ловушки делаю на волков? Нет? А вот так... Сделаю из плетня круг, а вокруг него, немного отступя, еще круг, с дверцей. В середину малого круга — приманку положу. Вот волк зайдет в дверцы, идет кругом, нюхает, а приманку не достанет. Проход узкий, ему изогнуться нельзя. Вот дойдет он до дверцы, да только когда носом закроет ее, — тогда пройдет дальше. И вот он все ходит и ходит, и приманку не достанет, и в дверцы обратно не попадет... Так вот и я.

— Не соображу, — сказал Комлев. — В какую ловушку попал? А?

Василий Тихоныч описал в воздухе рукой дугу, тяжело вздохнул:

— Вся жизнь

Комлев нагнулся, заговорил тише:

— Ты не слышал, правду ай нет говорит отец Евлогий?

- А что? Не слышал.
— Будто скоро конец. А?
— Нам? — испугался Василий Тихоныч.
— Нет, им... большевикам.
— Отец Евлогий сказывал?
— Он. Как думаешь — правду сказал?
— Что ты! Отец Евлогий? О, он человек с понятием! Он семинарию прошел.
— А я думаю, врет.
— Ну нет... — возразил Василий Тихоныч. — Он с понятием. И старый. А старый ворон не каркнет даром.

Когда пришли белые, Василий Тихоныч вместе с Комлевым встречал их с хлебом-солью... «Эсеры... — шептал Василий Тихоныч. — Чудное название! Язык обломаешь! А программка ничего, подходящая...» Но тут обманулся Василий Тихоныч: вслед за отрядом явился барин. Он потребовал вернуть ту землю, которая засеяна была им рожью в семнадцатом году, потребовал вернуть имущество. А потом вдруг объявили: все должны отдать недоимки по налогам за три года. И давай забирать все — хлеб, скот, сыновей на войну...

... Спускалась ночь. В пойме курился костер, белесый дым от него отрывался маленькими клочками, и летели они, один за другим, цепляясь за деревья. Сварив уху, Василий Тихоныч решил поужинать у костра. Постелил дерюжку, поставил рядом дымящийся котелок, пошарил в нем ложкой... Нет,

есть не хотелось. Опершись локтем о землю, взглянул на Каму, вспомнил, как иногда суматошно толкуются на ней волны, бросаясь из стороны в сторону, грустно подумал: «Так и люди: мечутся туда-сюда, а куда лучше податься — не знают. Куда ни подайся — везде разобьешься...»

С берега послышался хруст намытого рекой и высохшего за лето мусора. Василий Тихоныч приподнялся. Внизу, по песчаному закрайку, шагал полуголый человек, ярко освещенный лунным светом. Он шел порывисто, откидывая преграждавшие дорогу ветви белотала.

Василий Тихоныч бросился к берегу.

Полуголый человек остановился, несколько секунд смотрел на рыбака с опаской, потом откинул со лба мокрые волосы.

— Господи! — вскрикнул Василий Тихоныч. — Никак, Мишка!

— А-а, тятя...

Мишка повернул к отцу.

— Чорту в зубы попал.

— Сынок! Не греши.

— Заходить ли? Опять выдашь?

Василий Тихоныч схватил сына за руку, потащил на крутояр. Усадил у костра, подкинул в него сушняка.

— Сынок! Да откуда ты?

— Говорить тошно. Озяб я...

— Эх, как перевернуло тебя!

Мишка был голоден, но ел рыбу медленно,

неохотно. На расспросы отца отвечал коротко. Его одолевала усталость. Немного погодя захотел курить, вытащил мокрый кисет, вспомнил Наташу, — и слезы навернулись на глаза. Сжимая в руке кисет, сказал чуть слышно:

— Услужил ты мне. Спасибо.

— Грех на мне. Богу отвечу.

— Богу?! — вдруг загорелся Мамай. — Это когда? На том свете?

В темноту полетел котелок с рыбой. Мишка схватил отца за грудь, начал трясти.

— А на этом? Не хочешь?

— Сынок, прости...

— Не богу, мне отвечай!

Отбросил отца в кусты, сказал:

— Половину сердца ты мне отрезал!

И быстро начал спускаться к реке.

— Мишка! Одежу возьми, дьявол! Заколеешь!

Мишка вернулся, надел отцовы штаны, легкий пиджак. Василий Тихоныч предложил и свой кисет.

— Закури. Свежий.

Табачный дым опьянил Мамай. Он согласился отдохнуть немного в землянке. Лег на нары. Землянка начала покачиваться, как баржа.... Три дня прожил Мамай в ожидании смерти. А теперь — такая разительная перемена! В землянке остро пахнет сырой землей, свежей овсяной соломой, рыбой и мышами. за дверью — сонно вздыхающие сосны,

оранжевые косынки огня, веселая луна... Мишка Мамай опять находился в центре быстро раскрывающегося мира. С радостным волнением он вступал в безбрежную жизнь. В ней все — от мышинного запаха до могучих стихий — было устроено чудесно и мудро. От счастья Мишка закрыл глаза. И сразу все, чему он удивлялся, пропало. Перед ним катилась угрюмая, величественная река, а на ней вдалеке маячила баржа с виселицей.

Ночью Мишка проснулся и сразу понял, что рядом, на нарах, сидит отец. Мишке стало стыдно, что вечером, не сдержав гнева, он бросился на отца. В темноте Мишка протянул руки к отцу, сказал, оправдываясь:

— Это она подарила кiset.

Василий Тихоныч вздохнул.

— Чего там вспоминать! — Ощупал сына. — Тебя били? Здорово?

— Один, рябой, бил. Здорово. Попадись он мне, — в секунд, гаду, мослы обломаю. Ну, да на аршин побои не меряют.

Помолчали. Мишка спросил:

— У вас тут, в деревне, как?

— Не говори! Туго приходится, сынок. Под этой проклятой властью задыхается народ. Ну, скажи, как рыба подо льдом!

Первый раз Василий Тихоныч беседовал с сыном серьезно, как с равным себе. И старику было приятно, что сын понимает и жалеет его. И он легко, без боли душевной, говорил о себе:

— Много у меня грехов, много. Все искал, где лучше, а вот... Счастье, что лиса: всегда обманывает. Я и повадки лисьи знаю будто хорошо, а вот — подвело.

— Погоди еще...

— Не знаю. Старею, видно. Мне трудно поспевать за жизнью. А жизнь, она как-то впереверт катит, вот беда! Ты уж, сынок, поспевай за ней. Поспеешь — мне грехи поможешь сквитать.

Наговорились вдоволь. Перед рассветом Василий Тихоныч посоветовал:

— Уходить тебе надо, сынок.

Мамай молчал.

Василий Тихоныч нагнулся.

— Знаю место. В Черном овраге. Один я знаю: там наши ребята живут.

— Кто?!

— Смолов, Камышлов. Которые убежали с-под расстрела. Партизаны, одно слово.

— Веди!

Утром Мамай был в Черном овраге.

XI

На мачтах баржи хило теплились огни. По палубе, горбясь, ходил часовой с винтовкой. За ним (от большой скуки) неотвязно бродила черная собака. Миновали небольшую деревню на правом берегу, тепло закутанную в меха ветел и тополей. Повстречался белый пассажирский пароход. Он дал гудок и быст-

ро прошел, отбрасывая, к берегам веер гравастых, певучих волн.

Услышав шум парохода, поручик Бологов открыл глаза, приподнялся на локте. Растерянно спросил:

— Что такое? Где я?

— На барже вы, — ответил Ягуков.

— А-а... — понимающе протянул Бологов. — Он... убежал? Да?

— Так точно.

— Стреляли?

— Стреляли, да где уж...

— Мерзавец, — прошептал тихо. — Уйди, Ягуков.

Опять лег, опустил набухшие веки. Кружилась голова, словно после угара, к горлу подступала тошнота, перед глазами неотступно стоял Михаил Черемхов. Вспомнились и другие смертники: Сергей Рябинин, который оттолкнул солдат и сам полез в петлю, рабочий-большевик Петров, которого с трудом убили, изрешетив всего пулями, учительница Суховеркова, плюнувшая перед смертью ему в лицо...

Много встречалось уже таких, уходивших в небытие с каменными лицами и жаркими глазами.

Это начало серьезно пугать поручика Бологова. Уничтожая большевиков на барже, он держался спокойно и властно, всем своим видом стараясь внушать, что на его стороне — сила, правда, будущее. Но те, что умирали

неожиданно начали колебать, расшатывать устои его веры. словно собственная тень, его неотступно стала преследовать мысль, что если много таких людей, с какими приходилось встречаться на барже, то прошлое не вернуть. Он крепился, отгонял эту мысль, всячески оживляя свои надежды. Но сомнения тихонько, незаметно точило и точило его, словно короед дерево. Он стал угрюмее и вспыльчивее. Случалось, что он целые ночи бродил по палубе, борясь с непонятной тоской. Все имеет свои границы. Случай с Михаилом Черемховым окончательно подорвал силы поручика Бологова. Беспокойство, ранее сочившееся в душу сквозь незаметную расщелину, теперь начало заливать ее неудержимо, как поляя вода...

Полузакрыв глаза, Бологов в это утро много раз, словно заучивая наизусть, повторял одно и то же:

— Неужели все кончено? Неужели?

Он вспомнил о своем маленьком заветном мешочке, который постоянно носил с собой, — в нем хранилось немного сухой и черной земли. Это была земля, взятая им из родительского сада. Раскрыв мешочек, Бологов с минуту задумчиво смотрел на землю, а потом так стиснул ее в руке, словно хотел, чтобы она вскрикнула, как живая...

Наташа хорошо слышала выстрелы.

И больше — ничего. Сознание вернулось к ней только на другой день. Она не поднялась, лежала молча. Ей казалось, что она лежит в темноте одна, а все остальные смертники — за толстой стеной, плохо пропускающей звуки; медленно, медленно восстанавливалась в ней способность чувствовать и понимать окружающее. Казалось, все в ней омертвело. Задумай поднять руку — не поднимешь, шевельни ногой — она каменная. Да и шевелиться не хотелось. Зачем? Пусть тело лежит на соломе и гниет.

— Ну, как дела? Воды не надо?

Узнала: это — Иван Бельский. Испугалась, что вот-вот из сердца хлынет боль. По щекам потекли слезы, она не трогала их — пусть катятся...

— Ты знаешь. — Бельский нагнул, — у меня была жена. Высокая, белая. Походка — важная, спокойная. Сейчас вижу. А блины какие пекла! Они запероли. Я хотел повеситься. Но выдержал... Сын еще у меня был — забавный такой мальчонка, смышленный, верхом ездил здорово. Его на штык подняли...

Бельский отшатнулся, помедлил, с холодной веселостью досказал:

— Смышленный был! Он, знаешь ли, одного беляка в капкан поймал. Поставил у

крыльца, што ли... Вот какой! Его — на штык.

— Зачем ты это? — чуть слышно спросила Наташа.

— Успокойся.

— Я успокоилась... — Прислушалась. — Как в барже тихо. Они — спят?

— Нет, думают.

— О чем?

— О жизни, наверное.

Шли недалеко от берега, мимо деревни. Долегал лай собак. Солнечные сети качались в глухой пучине трюма.

— А что думают о жизни?

— Разное.

— Нет, нет. — Наташа вздохнула. — Они не о жизни думают, нет. О смерти.

Разговор сильно утомил. Наташа устало закрыла глаза. И почти в то же мгновение ее оглушил винтовочный залп. Он прогремел так сильно, что вокруг застонала вода. И враз все смолкло. В голове еще не улегся тяжелый звон, а Наташе вдруг показалось, что Мишка Мамай рывком поднял ее на крепкие руки. Она вскрикнула.

— Уйди! Сгинь!

— Что кричишь? — сказал Бельский. — Я уйду.

— Чтоб ноги твоей не было!

— Наташа, что с тобой?

— Уйди! Сгинь!

Она быстро поднялась, сказала тише:

- Нет, они о смерти думают.
- Ну, и пусть...
- Я знаю, ты добрый, ты поверишь мне.
- Я и не спору.
- Не споришь — не бунтуй. Не люблю.
- Наташа...

Откинув голову, она коротко хохотнула.

— Сонная трава зацвела. Как рано!

Бельский, наконец, понял все.

III

Случилась беда и с Шенгереем.

Увидев снопы, он стал бояться смерти. А когда ушел Мишка Мамай, он совсем ослаб, пал духом. И странно — это произошло из-за тех сапог, что отдал ему Мамай! Сначала Шенгерей несказанно обрадовался подарку: он никогда не имел сапог, все свои сорок девять лет носил собственной поделки лапти. Только один раз, когда женился, надевал сапоги. Дал их на свадьбу деревенский богач с условием, что Шенгерей отработает три дня в страду на его поле. И Шенгерееву совсем не обидно было, что богач выговорил так много, — уж очень приятно было ходить в сапогах. Идешь, а они начищенные, так и ловят солнце! Это ощущение приятности долго не покидало Шенгереева. Приезжая на базары или ярмарки, он всегда ходил по лавкам, подолгу осматривал сапоги, приценивался и был доволен тем, что торговцы, желая сбыть свой

товар и не зная бедности и страсти Шенгерей, давали ему поторговаться. А теперь, наконец, он получил сапоги, получил навсегда, и так неожиданно! Знал Мамай, что он босой да к тому же простуженный, и вот, отдал. Шенгерей сначала долго ощупывал сапоги, поглаживая носки и голенища, стучал ногтем в подошву и восхищенно думал: «Ай-ай, какая кожа! Если их мазать гусиным салом — им износа не будет! Мне их до старости хватит, да еще Хаким поносит...» Но подумав так, Шенгерей вдруг осекся: он первый раз, пожалуй, так отчетливо, ясно понял, что не миновать смерти. Может быть, ему совсем недолго придется походить в сапогах. Может быть, сегодня или завтра позовут и его. Шенгерей безрадостно натянул сапоги и старался больше сидеть, чтобы не слышать их скрипа...

... Баржа остановилась у Смыловки. Всю ночь Шенгерей не спал, а утро встретил особенно беспокойно. По палубе изредка проходили солдаты, стуча сапогами, — Шенгерей пригибался, как под ударами грома. О баржу плескалась вода, вдалеке перекликались пароходы, всполошенно кричали гуси. Все спали. Даже Иван Бельский еще не просыпался. А Шенгерей не терпелось. Он начал будить товарищей.

— Эй, товарищ, вставай! Ай, как долга-та спать хочешь! Вставай!

Смертники начали подниматься.

— Не выводили?

— Нет, что-то затих он.

— Затих! Перед бурей всегда затихает.

— Утро, кажись, хорошее.

— Хвали, брат, утро вечером.

Утрами (через день) открывали люк; смертники очищали параши и запасали воды. Сегодня это нужно было делать. Но люк не открывали долго, — солдаты ходили за провизией на берег.

Наконец люк открыли. В трюм хлынули волны света. Смертники сгрудились у лестницы, увидели стальное с прозеленью небо. Солдат Захар Ягуков заглянул в трюм.

— Выноси ведра! Бери воду!

Из трюма вырвались промозглые голоса:

— А хлеб есть?

— Давай хлеб!

— Пухнем с голодухи!

Ягуков стукнул прикладом винтовки.

— Замолчь! Какой вам хлеб?

— Ишь ты, сытый сам!

— У него рожь-то вон какая красная, хоть прикуривай!

— Замолчь, сволочь! — обозлился Ягуков. — Сейчас закрою!

— Но, ты... Сейчас идем!

По трюму полетело:

— Чья очередь?

Охотников заниматься утренней уборкой было много: всем хотелось несколько минут, хотя бы мельком, полюбоваться рекой и ут-

ренным небом. Поэтому в трюме был заведен порядок — дежурить по очереди.

Очередных дежурных нашли не сразу. В полумраке кто-то ржавым голосом спрашивал:

— Чья, говорю, очередь?

— Зубцова. Он убит, — ответили с кормы.

— Дальше кто? Михайлов? Здесь он?

— Нет, повешен.

— Следующий! Самарцев?

— Вот я! Иду! — обрадовался Самарцев — дружинник из Токмашки — и начал разыскивать ведра.

— Дальше кто?

— Бельский Иван... Чугунов, то исть.

— Не пойду я, — отозвался Бельский. —

Неохота. Пусть за меня кто-нибудь сходит.

Расталкивая товарищей, к лестнице кинулся Шенгерей.

— Он не гулял? Зачем не гулял? Пускай меня-та! Он не гулят — я гулям.

— Ты недавно ходил!

— Ишь, понравилось!

— Ай, какой твоя голова. Ай, ты... Пускай меня, пожалыста..

Шенгерей стоял около лестницы, облитый солнечным светом, просяще разводил руками, растерянно улыбался. В голосе его слышались надорванные, стонущие нотки.

— Гулял раз — кака беда? Время будет — ты гуляш, он гулят, все гулям. Я погляжу, какой река, какой погода. Чистый сердце погляжу мала-мала!

— Пусть идет, — сказал Бельский.

— Ай, вот человек! — обрадованно воскликнул Шенгерей. — Бульна хороша человек!

XIV

Началась уборка. Шенгерей и Самарцев очистили параши, распространив по трюму зловоние. Потом начали запасать воду. Шенгерей просился поработать, чтоб развеять тоску. Но, бродя по палубе и осматривая окружающее быстрыми, ищущими глазами, еще сильнее загоревал.

День стоял холодный, блеклый. Быстро заносило непогоде. Кама, казалось, зябко вздрагивала. С поймы летели желтые, прозрачные листья. В затишке плавали гуси, перекликаясь осенними позывными голосами.

Шенгерей изредка останавливался с ведром воды и, разгибая спину, горестно шептал:

— Уй, плохо! Совсем пропал.

Самарцев первым спустился в трюм. Смертники окружили его и начали подробные расспросы.

— Заносит? Да, сейчас дэжда нужно...

— Стоим-то где? У Смыловки?

— Народ на пристани есть?

— А на этой стороне что — лес?

— А поля как? Видно поля?

— А река здорово обмелела?

Со всех сторон лезли, спрашивали. Са-

марцев сначала терпеливо отвечал, но под конец не выдержал:

— Очумели вы! Да у меня что — десять глаз? Где мне все разглядеть?

— А ты смотрел бы!

— Да сколько я был там?

— Минут пятнадцать был!

— Тьфу! Да за пятнадцать минут, скажите на милость, разве можно...

— А то нет? Да если...

— Эх, ты! Сходи-ка да разгляди...

Пока смертники спорили с Самарцевым, на палубе случилось неожиданное... Перед тем как спуститься в трюм, Шенгерей остановился, взглянул по сторонам, на небо, на поля.

В этот момент из каюты вышел поручик Бологов. Лицо его было нахмурено, весь он подтянутый, настороженный. Шенгерей хотел уже спуститься в люк, — Ягуков прикрикнул на него, — но вдруг ему пришла в голову дерзкая мысль. Он опустил на палубу ведро, подбежал к поручику и боязливо позвал:

— Господин начальник...

— А? В чем дело? — обернулся Бологов.

— Господин... — голос Шенгерейя рвался.

— Эх говорит, как жвачку жует!

— Пускай, пожалыста... — закончил Шенгерей, болезненно улыбаясь.

— Что?!

— Диревню домой-та пускай, пожалыста.

-- Тебя?!

— Правда, правда. миня...

Подобного на барже не случилось. Это первый заключенный попросил пощады. «Забавно...» — подумал Бологов и, сдвинув светлые брови, внимательно осмотрел Шенгеря. Перед ним стоял небольшого роста татарин, в распахнутой мягкой поддевке, в яловочных сапогах на коротких, немного кривых ногах. Он стоял ссутулившись, пригнув голову, покрытую теплой, похожей на колпак, шапкой. Из-под шапки торчали, отливая бронзой, короткие волосы. Лицо было маленькое, высушенное, перевитое бороздами морщин, на подбородке рос кустик чахлых волос, а уши, отогнутые шапкой, были желты и прозрачны, как омертвелые листья.

Бологов повернулся к Ягукову, указал глазами:

— Закрой люк.

Еще раз окинул Шенгеря неясным, ничего не выражающим взглядом.

— Так тебе захотелось домой?

— Диревню надо, господин начальник.

Шенгерей обрадовался, что поручик «оказывает внимание, но что-то удерживало его распахнуть душу; он заговорил стыдливо и осторожно:

— Сам знаешь, работать надо—дома работать, поле работать. Баба есть, — какой толк баба? Туда — баба, сюда — баба, третье место — баба... А баба — худой. С тяжелой-та работы кругом ломался баба! Да ребяташки связали рука-та, нога-та...

— Сколько их — ребятишек?

— Две парнишка, пять девчонка...—Шенгерей поднял голову, на посеревшем от голодухи лице ярко светились затравленно мечущиеся глаза. — Семь ребятишка будет моя. Один девчонка сосет, малай юбка держит... Вот какой! Вот! — Шенгерей нарисовал в воздухе лесенку. — Сам знаешь, беда. Пускай, пожалуйста...

— За что посажен?

— Шабра парнишка... мал-мал вилам трогал... — запнулся Шенгерей, жалобно поморщился, ожидая новых неприятных вопросов. — Шабра-та приехал диревню, меня бил. Зачем бил? Не знай.

— Большевик?

— Не знам. Какой большевик?

— Врешь! Все ты знаешь!

— Правда сказал, господин начальник, правда. Сирдечный правда! Большевик не ходил, — заторопился Шенгерей. — Своя диревня жил мы.

— Хорошо... Но как тебя отпустить?

— Пускай, пожалуйста, — умоляюще протянул Шенгерей.

— Обожди... — остановил Бологов. — Допустим, что я тебя отпущу. Но тебя отпустить на волю — ты две возьмешь. Так?

Шенгерей часто-часто замигал. Он понял: начальник сейчас потребует раскаяния и заверений, что он больше никогда не будет противиться новой власти. Лицо его стало еще

серее и угрюмей. Ему было совестно, что придется лгать, — Шенгерей всем своим сердцем ненавидел новую власть, но ему так хотелось вернуться в родную деревню, к жене, к ребятишкам, что он решил перетерпеть все, на все согласиться. И он ответил:

— Зачем возьмешь-та? Не надо! Ничего-та не надо!

— Начальство в деревне будешь слушать?

— Будим, будим... Как не будим?

— С большевиками будешь таскаться?

— Ай, господин начальник... — Шенгерей устало раскинул руки. — Ни буду! Верь слову — нет. Пускай, пожалуйста, господин начальник...

«Странно... — опять подумал Бологов. — Может быть, Черемхов и некоторые другие — это исключение? Очень странно. Вот пошлю сейчас этого татарина в трюм, и пусть он там скажет, что раскаялся и его отпускают... Да, пошлю! И посмотрим еще, что из этого произойдет! Это тоже очень забавно...» Бологов приподнял носок сапога, крикнул:

— Ну, целуй, сволочь! Отпущу.

Несколько секунд Шенгерей стоял как оглушенный. Потом медленно подогнул подрагивающие ноги, оперся руками о палубу, опустил голову, — она была тяжелая и горячая. Он нагнулся совсем низко над матово поблескивающими носками сапог. Губы Шенгеря судорожно подергивались. Он медленно

тянулся к сапогам поручика, словно боялся ожечься. Вот еще немного, еще немного, — он прижмется к ним на одну секунду и получит волю. Только один раз прижаться, поцеловать — и жизнь спасена! Он вырвется из затхлой баржи. Он понесется с радостно бьющимся сердцем домой, к Фатыме, к ребятишкам. В глянце хорошо вычищенных сапог поручика Шенгерей уже видел быстро мелькавшие картины — смутно очерченное лицо жены, ребятишек, силуэт своей избы с березкой у ворот...

— Ну, целуй! — крикливо повторил Бологов. — Отпускаю!

Глаза Шенгерей стали сухи и насторожены. Он вдруг оторопело отшатнулся, взглянул на поручика, поднял голову и голосом, упавшим до холодного шопота, сказал:

— Нет, не буду...

— Что-о? — Бологов отступил, приподняв плечи.

— Ни желам! Нет!

— А-а, вон что!

Откинув правую ногу, Бологов резко ударил Шенгерей в зубы. Шенгерей ахнул, упал на спину, закрыл лицо руками. Бологов, дрожа от ярости, наскочил на него и начал изо всей силы бить сапогами по голове, лицу, по бокам, в живот. Он катал его по палубе, как деревянный чурбан, и кричал:

— Вот как! Вот вы какие стали! Гордые стали! Целуй, сволочь!

Шенгерей отрицательно вертел головой и опять корчился под ударами, извивался, свертывался в комок, отплевывал кровь и выбитые зубы. Но не кричал. Это еще сильнее бесило Бологова. Он бил Шенгеря куда попало, бил до тех пор, пока тот не перестал защищать лицо. Тогда Бологов, отступив, вытер платком лоб, глухо бросил Ягукову:

— Приколи!

XV

Поручика Бологова глубоко взволновало происшествие на стоянке у Смыловки. Измученный тревогами, он стал болезненно-остро воспринимать все, что сколько-нибудь неожиданно вторгалось в его жизнь. «Так, так... — неопределенно думал он, без устали шагая по каюте. — Вот такие-то дела. Ну, ну...» Перед вечером, успокоясь и набравшись какой-то злой решимости, он начал просматривать списки и дела заключенных.

Баржу прибывало стремниной к берегу, изрезанному оврагами. Мимо пронеслись, будто выпущенные из пращей, две утки. До слуха поручика долетело частое, глухое туканье. — шла моторная лодка. Вскоре на корме баржи послышался чужой голос.

— Вот чертовщина, — проворчал Бологов, торопливо застегивая ворот гимнастерки. — Кажется, капитан Ней. Носит его по реке!

Вошел капитан Ней — низенький, полный и мягкий, как пышный колобок, в чистеньком

кителе защитного цвета, с пенсне на коротком носу. Он без особого внимания выслушал рапорт, сбросил фуражку, вытер шелковым платком глубокие залысины. «Не в духе», — определил Бологов.

— Фу, сегодня что-то неважная погода, — сказал Ней, подсаживаясь к столу. — Какая то неопределенная... Ни сумрачно, ни ясно. Не люблю!

— Вечер будет хороший, — заметил Бологов.

— Вечер? Возможно. Вполне возможно.

Медленно, но разговор завязался. Поручик Бологов несколько раз возвращался к теме, больше всего волновавшей его.

— ... Я не миндальничаю, — говорил он, шевеля бровями и бросая на капитана туманный взгляд. — У меня, слава богу, твердая рука, Арнольд Юрьевич. В наши дни не должно быть наивных иллюзий.

Постучав подошвой сапога о пол, сказал:

— Когда мы бросаем их сюда, — я спокоен. Но на свободе они размножатся, как бактерии!

— Вот это и опасно, поручик, — протянул Ней.

— А вы думаете, Арнольд Юрьевич, я не понимаю? Отлично понимаю! — Бологов нагнулся над столом, заговорил торопливее, в голосе его зазвенели горячие нотки. — Нужно сильное противоядие! Иначе... Меня, признаться, начинают волновать события. Если

бы вы знали их! Вот скажите: почему они... ну, умирают так, знаете ли...

Ней поднялся, протянул портсигар.

— Нас не слышат?

— Благодарю. Не курю. Забыли?

— Да, да. Плохая память.

— Нет, нас не слышат.

Закурив, Ней сказал:

— Знаете что? Вы боитесь своих заключенных.

Бологов вспыхнул:

— Ерунда! Не боюсь, но...

— Боитесь! — убежденно повторил Ней. — Я вижу, Николай Валерианович. Вижу. Вы боитесь той силы, которая не оставляет их даже перед виселицей. Почему? Смешной вы, Николай Валерианович...

— А все же?

Капитан Ней, как всегда, не торопился отвечать, густо дымил папиросой, поглядывал в окно.

— Нет, серьезно?

— Серьезно? — переспросил Ней и, продолжая смотреть в окно, начал осторожно бросать слова, словно отсчитывал сдачу мелкими монетами. — Они знают, за что умирают, дорогой. Знают. Если плохо знают, — чувствуют. Вот в чем их сила. Она, говорите, пугает вас? О, как эта сила может еще расправить крылья!

— Вы думаете?

— Почти убежден, — ответил Ней. — Мы

сделали непоправимую ошибку. Непоправимую.

— Какую?

— Надо было обойтись без лишней крови.

— Это невозможно! Утопия!

— Ну, значит, и победить нам невозможно... — невозмутимо отсчитывал слова Ней. — Народ, дорогой поручик, не потерпит этого. Поняли? Вы знаете, что такое — народ? Нам нужно было обмануть его. А на это у нас нехватало ума и выдержки.

С минуту молчали. Капитан Ней начал ходить по каюте. Будто нечаянно натыкаясь на препятствие, он иногда резко встряхивал круглой лысеющей головой, а потом поправлял на носу пенсне.

— Меня удивляет, Арнольд Юрьевич...

— Мои взгляды удивляют? Да? — перебил Ней. — Тогда можно оставить эту тему. Я никому не навязываю своих мыслей. Мы взрослые. Хотя — не совсем. Но я хорошо знаю народ и отчетливо ориентируюсь в обстановке.

«Не в духе», — подумал Бологов и, решив переменить разговор, спросил:

— Вы сейчас — куда?

— В Казань.

— Не слышали, как дела на Волге?

— Ничего. Хотя не блестяще. — Глаза Ней осторожно поглядывали из-за стекол пенсне. — Пожалуй, даже плохо. Волга у Казани — за нами. Но около Воробьевки, по по-

следней сводке, идут серьезные бои. Очень серьезные. Нас теснят. Ленин, говорят, отдал приказ: немедленно взять Казань. Ну, а если возьмут Казань — наша армия потерпит большой удар.

— Казань не возьмут, — хмуро сказал Бологов.

— Вы злы на большевиков, я знаю, — спокойно возразил Ней. — Это похвально, но вы, дорогой, многого не понимаете. Не обижайтесь, я говорю откровенно. Я прихожу в ужас от мысли, что среди нас многие смотрят на события сквозь розовые очки. В этом может быть одна из причин нашего поражения. Не перебивайте, Николай Валерианович... Так вот, Казань красные могут взять. Советы располагают огромными силами.

— Но они плохо вооружены! — загорячился Бологов.

— Очень хорошо.

— Да чем же?!

— Верой в свои идеи, поручик! — уже сердито ответил Ней. — Именно той силой, с которой в маленьких масштабах сталкиваетесь на своей барже. Поняли? Вы хмуритесь?

Бологов отвернулся к окну.

— Что же делать мне?

— Отправляйтесь до Белой. Там посадите новую партию большевиков. И возвращайтесь обратно к устью. Все.

— А этих? — осторожно спросил Бологов.

— Сколько их?

— Около двух сотен.

— Ну, знаете ли... — смутился Ней. — Не смею ничего сказать.

— Так послушайте! — Бологов близко подошел к капитану, заговорил запальчиво. — До Богородска я их не повезу! Да! Всех! До одного! Это мой ответ на все, о чем вы говорили!

— Ваша рука владыка, — Ней опустил глаза.

Вышли из каюты. Капитан Ней спустился в моторку; она, часто тутукая, рванулась на меркнувшее стремя реки и понеслась по течению. Моторка уже скрылась за поворотом, а Бологов все стоял у борта, врасплох захваченный множеством новых дум. Разговор с капитаном Ней еще больше оживил тревоги. Неужели... «Россия! Россия!» — горько шептал Бологов, тупо смотря в воду. Река затихла. Солнце билось в паутине леса, устало шевеля длинными усами. Среди взгорий и потемневших зарослей белотала река лежала, как шкура серебристой лисы.

Ночью двадцать смертников были расстреляны.

XVI

Василий Тихоныч спустился на берег, к роднику. В камнях, под косматой ветлой, была сделана запруда и поставлен маленький сруб с крышкой, как у колодцев. Василий Тихоныч поставил котелок на камень, отки-

нул крышку садка, сунул руку в холодную проточную воду, — в садке заметались, забились большие рыбы.

— Ну, ну, не шуметь!

Вытащив туго извивающуюся стерлядь, Василий Тихоныч взялся за нож. С вечерней реки донесло шум моторной лодки. Василий Тихоныч обернулся, увидел: лодка на полном ходу подворачивала к берегу, отваливая толстый пласт тяжелой, холодно-серебристой воды. На моторке — цветистый, порывисто натянутый флажок.

— Тьфу! Житья нет на реке!

Моторка ткнулась в берег. Первым с нее соскочил небольшой кругленький офицер в пенсне, за ним — трое солдат. Василий Тихоныч выронил из рук стерлядь, — почуввав свободу, она наделала такого шума в садке, что старик прослушал, что крикнул ему офицер. В растерянности Василий Тихоныч не знал, куда спрятать нож. Офицер, видно, повторил свой вопрос:

— Рыбачишь, дружище?

Голос был приятный, мягкий. И смотрел офицер добродушно, улыбаясь. Василий Тихоныч только теперь увидел, что все военные без оружия. От сердца отлегло: видно, сошли они на берег просто покушать свежей рыбы, — всем известно гостеприимство рыбаков на Каме.

— Ну, как ловля?

— Идет малость, — заговорил облегченно

Василий Тихоныч. — Только ветра нынче, бури. Маята!

— Угостишь? — спросил Ней. — Заплатим.

— Милости просим...

— Не обидим. Поужинать хочется, а негде.

— Милости, говорю, просим.

— А хлеб есть?

— Найдется, ваше благородие. Добром люди просят — все найдется, У нас так.

Открыв крышку садка, Василий Тихоныч щедро предложил:

— Выбирайте сами!

— О! Одну минуту!

Капитан Ней и солдаты с радостью стали вылавливать стерлядей, а они вырывались, били хвостами, обдавали брызгами.

— Покрупнее можно?

— Лови, лови!

— Еще?

— Лови еще!

Принимая стерлядей, Василий Тихоныч быстро разрезал им брюшки, обмакивал в воду и бросал в котел. Когда котел был достаточно наполнен, сказал:

— Ну, хватит, господа. Пошли.

— А чистить их? — спросил Ней.

— Я вычистил!

— Позвольте, но ведь вы только разрезали их, а не чистили. Кишки надо...

— Чистить нельзя.

— То есть как?

Василию Тихонычу понравилось, что офицер не знает, как рыбаки варят стерляжью уху, и развеселился:

— Нельзя, нельзя, ваше благородие. Весь жир уйдет. А как мы варим, — вот уха! Уж вы послушайте меня, я ее, слава богу, варивал...

Начали подниматься к землянке.

— Уха ухе рознь. Свари ее на воле, — объяденье! — разговорился Василий Тихоныч. — У нас дед был... Бывало, достанет рыбы, так нет чтобы дома сварить, нет! Сложит в котелок, пойдет на речку, разведет костер. Сварит, стало быть, уху по всем правилам и несет домой! Вот как!

...Уха удалась чудесная — жирная, чуть припахивающая дымком и луком. Капитан Ней и солдаты были в восторге. А Василий Тихоныч то и дело прижимал к груди каравай, отрезал гостям ломти хлеба, перед каждым положил листья лопуха для рыбы, настойчиво упрасивал дочиста опорожнить котел. Он всячески старался угодить гостям.

— Вот незадача! — все вздыхал он. — Перцу нет, лаврового листу нет. А надо бы.

— С перцем еще бы лучше.

— Не говори!

Совсем свечерело. В лесу было тихо, сонно. Около землянки в посохшей траве прыгали лягушки. Над головешками обессиленно вздыхал огонек. Из-за поворота показался пароход, он прошел вниз, отчетливо шлепая

плицами и бороздя реку острыми клинками разноцветных огней. Было слышно, как к берегу, подталкивая друг друга, покатались волны.

Василий Тихоныч встревожился:

— Лодку не сорвет?

Ней махнул рукой, — дескать, не должно сорвать.

— Я взгляну, — засуетился старик. — Недолго до греха. Доедайте тут все, а я схожу. Чайник возьму, по пути воды зачерпну. Чайку-то попьете? После ухи на чай позывает, знаю...

Он скрылся под обрывом.

— Чудесный старик! — сказал Ней.

— Накормил так накормил! — несмело отозвался один из солдат.

На берегу Василий Тихоныч задержался. Поднимаясь к землянке, сообщил:

— Закинуло на берег немного.

— Столкнули?

— Столкнул... Фу, совсем, видно, сердце попортил. Как на гору, — перехватывает душу поперек, и только...

Через полчаса, напившись чаю и дружески простившись с гостеприимным рыбаком, капитан Ней и солдаты сели в моторку. Василий Тихоныч на прощанье помахал им рукой. А потом кинулся к прибрежным кустам, взволнованно шепча:

— Господи! Удача-то какая!

В кустах тальника было спрятано украден-

ное с моторки оружие — офицерский наган и три винтовки с патронташами. Василий Тихонич вытащил оружие, бросился на крутояр. У землянки остановился передохнуть, оглянулся на реку. Моторка полным ходом заворачивала обратно. «Спохватились!» Василий Тихонич опустил на колено, щелкнул затвором винтовки. Не дойдя до берега, моторка неожиданно вильнула кормой и, рокоча, рванулась вниз.

— Ага! — обрадовался Василий Тихонич. — Раздумали? Догадались? Я бы вас встретил!

Немного погодя Василий Тихонич, забрав оружие, направился в Черный овраг. Никогда еще он не испытывал такого приятного ощущения своей значимости в жизни. И давно не чувствовал себя так уверенно и бодро, — годы его словно повернули вспять. Первый раз, кажется, он забрасывал личные дела ради нового большого дела, которое вдруг настойчиво позвало к себе, и это наполнило его гордостью и смутными радостями.

XVII

Заложив руки под голову, Мишка Мамай лежал у землянки и задумчиво смотрел вверх. Тонкие сосны подпирали в небо. Высоко-высоко сплелись их кудрявые вершины. На дне Черного оврага сумеречно, дремотно, лишь изредка тихонько шевельнется сосна, обронит засохшую ветку или вдруг, вырвавшись

из веток ивняка, радостно заговорит ручей. В западной стороне устало плотничал дятел.

— Груздей — тьма, — сказал Мамай.

Рядом с ним лежал ворох сухих и сырых груздей, рыжиков, маслят. Мишка пошарил рукой, раздавил один груздь.

— Так и прут из земли. Хоть лопатой гребь.

Смуглый и скуластый Смоллов доплетал лапоть. Перебирая лыко, заметил:

— Зря рвешь.

— А что?

— На родном бы месте сгнили. Дожили бы век и сгнили. А тебе все надо тревожить, все тревожить. Зуд какой-то у тебя в руках, я так понимаю.

— Тошно...

— Ха, тошно! А мы как живем?

Сосна, сломанная бурей, лежала над землянкой, закрыв ее хвоей. Для постороннего глаза землянка было почти незаметна. В ней уже с месяц жили еловские члены совета — Смоллов и Камышлов, чудом спасшиеся при расстреле, и два дружинника из соседнего поселка — Воронцов и Змейкин. Жили они в землянке, как барсуки в норе. Однообразно коротали время. Упорно ждали перемен. Знали, что на свои силы надеяться нельзя. Их дружина была разгромлена, многие товарищи убиты, остальные разметаны по округе, словно ветром оборванные с одного дерева и разбросанные нивесть где листья.

Ждали, надеялись, что вот-вот нагрянут красные войска и освободят Прикамье...

Сгибаясь, Смоллов затягивал ленты лыка, присматривался к лаптю.

— Потерпи с наше.

— Потерпи! — Мамай со стоном перевернулся на живот. — Ух, ты-ы... Дуги бы гнуть, что ли?! Или бы самогон пить!

— Вот тебе на! Утром резвился, а к вечеру взбесился.

— И взбешусь! Сидишь, как на цепи.

Мамай приподнял голову.

— Брось лапоть. Спой. Я подтяну.

Сощурился, Смоллов взглянул, усмехнулся.

Мамай ударил кулаком по земле:

— Чорт! И песни петь нельзя...

Немного прожил Мамай в Черном овраге, а как измучился! Он быстро оправился от потрясений на барже; так молодой дуб, сколь ни треплет его буря, выстоит, не обронив и одного листа. Мамай уже начало раздражать безделье. Ему, подвижному и охочему до кипучей жизни, было трудно сдерживать в себе вновь окрепнувшие беспокойные силы. Да и думы о Наташе не давали покоя. В живом, горячем воображении Мишки постоянно вспыхивал ее образ — родной, светлый. Он вспоминал все, что знал о ней, что успел разглядеть в ней и вокруг нее. Он мысленно гладил ее черные косы, заглядывал под длинные ресницы; как и раньше, он не мог только разглядеть цвет ее глаз, — они были уж очень

искристые, в них было много-много света. Она стояла перед глазами чаще всего в своей любимой позе — немного закинув голову.

Дятел замолчал. За вершины сосен цеплялись солнечные тенета. Отложив лыко, Смолов достал кiset, стал выбивать кресалом искры из кремня.

— Зря рву, верно, — согласился Мамай.

Он вдруг поднялся — высокий, в синей рубашке и отцовском пиджаке, в солдатских брюках и лаптях. Ядовитая улыбка мелькнула у тонких упрямых губ. Он резко откинул чуб.

— Илья, — сказал он твердо, — ничего ты не знаешь! Эх, взять бы землю на руки да грохнуть об камень! Чтоб в куски! Чтоб брызги!

— А за что? — спросил Смолов.

— Так... Канитель на ней, не жизнь.

В воздухе запахло тлеющим трутом и табакком.

— Ну, а потом?

— А потом бы я сел на камень и опять сложил землю. Где горы, где чего. Сколько бы мест хороших выдумал! И новые бы порядки... А? Здорово?

Смолов хотел ответить, но Мишка схватил себя за грудь, защемил в железно-жестких пальцах кожу, потряс и рванулся от землянки на берег Камы, ломая мелкий подлесок.

— Здоров, — завистливо прошептал Смо-

лов. — А душа — как губка: так и тянет все в себя.

...Мамай лежал, свесив голову над обрывом. Внизу — в хлипкой, прохладной тьме — плескалась река. Смоллов сел у ног Мамаю, сказал безразлично:

— Простудишься.

— Я не знал этого, не знал... — прошептал Мамай.

— Кашлять будешь. А зачем?

— Илья, — погромче сказал Мамай, — ты не будешь смеяться? Я тебе скажу... — Поднялся, сел. — Только, друг, не смейся.

— Простыл ты. Уже слышу.

— Ты не знаешь, какая она...

— Кто?

— Да Наташа.

— Все они такие.

— Врешь! Язык у тебя — ботало. — Мамай опустил на правый локоть, дотронулся головой до плеча Смоллова. — Любить — и хорошо, и страшно. Ты не смеешься? Ты не смейся, Илья, а? Не надо. Она такая... ух, и не знаю, как сказать... Огонь с ветром! Ты не знаешь, Илья, ее.

— Ребята пришли, пойдем, — предложил Смоллов.

Голос Мамаю опять потух.

— Попробуем, а?

— Что опять?

— Да выручить их! Ей богу, выручим!

— Одной рукой хочешь узел развязать?

Мамай разом встал на ноги.
— Не веришь?
— Пойдем, ветер ты с огнем!..

XVIII

Когда Василий Тихоныч принес оружие, все партизаны, за исключением Змейкина, решили принять план Мишки Мамаю. А план был простой. Баржа с виселицей скоро пройдет вниз. Она останавливается в глухих местах. Надо ее догнать и ночью сделать налет. Конвойная команда, не ожидая налета, в панике покинет баржу. И смертники будут освобождены.

Ждать пришлось недолго.

Как только баржа с виселицей прошла мимо Черного оврага (это было вечером), партизаны собрались в путь. Василий Тихоныч, согласившись везти их на своей лодке, сделал запас харчей, достал парус. Молча разместились в лодке. Взяв весло, Мамай еще раз — последний — попытался отговорить отца:

— Сидел бы, тятя, рыбачил тут...

— Ты мне, Мишка, не перечь. Хвост голове не указка, — сердясь, ответил Василий Тихоныч. — Заладил одно! Мне тут, сам знаешь, какое теперь житье, — как на муравьиной куче. Знаешь? Ну, помалкивай. Да и кому я лодку доверю? Тебе?

Василий Тихоныч устроился на корме, уложил у ног мешки с харчами.

— Толкаю! — крикнул Смоллов с берега.

— Обожди. — Василий Тихоныч поднялся. — Праведное дело задумали, ребята. Так? Это господь увидит. — Сняв картуз, предложил: — Помолимся, а?

— Помолиться не мешает, — отозвался Змейкин.

Василий Тихоныч и Змейкин повернулись на восток, начали креститься. Остальные смущенно смотрели в воду.

— Толкай!

Лодка быстро вышла на стрежень. Мишка Мамай вдруг опустил весло, крикнул:

— Ребята, в каком ухе звенит?

— В правом, — ответил Воронцов.

— Так. Угадал.

— А что задумал?

— Задумал вот... — с едва сдерживаемой радостью ответил Мишка и опять начал резко кидать веслом воду, сила в нем была ключом...

Вскоре нагнали караван. Партизаны привязались к одной из барж, сложили весла и спокойно поплыли вниз по Каме. На рассвете увидели баржу с виселицей, она стояла у лесистого берега. Прошли мимо.

ХІХ

День был пасмурный, мгlistый. Серая изволочь крыла небо. С полудня из нее посыпалась мелкая водяная пыльца. Река стала

угрюмая, берега потеряли четкость своих очертаний.

На одной из последних остановок большинство солдат конвойной команды сходило на берег. Вернулись они на баржу веселые, принесли всякой всячины: хлеба, битых гусей, рыбы, масла, яблок, кадочку соленых груздей. Достали и самогонки, о которой уже давно тосковали. Теперь, таясь от Бологова, потихоньку допивали ее.

Только Серьга Мята был трезв. Он лежал на койке и сосредоточенно думал. Солдаты играли в карты и посмеивались над ним. Особенно донимал Захар Ягуков. Поворачивая большую голову, вздергивая густо рдевший нос (он проигрывал — его били по носу картами), посмеиваясь, он допытывался:

— По бабе заскучал? Не тужи: бог девку даст!

— Баба не бочка: не рассыплется без меня.

— О чем же задумался?

— Вот думаю, — спокойно ответил Серьга Мята, — как бы тебе харю побить, чтобы ты не привязывался.

— Ого! Слыхали, ребята?

— А ну его, мочальную душу!

— Он вечно скулит!

Когда надоели карты, Терентий Погорельцев взял гармонь, сел на пол и начал играть. Он прижался ухом к гармонии, точно слушая ее дыхание, потом мастерски пустил пальцы в пляс по перламутровым пуговкам клавишей.

на миг оторвал руки, встряхнул черноволосой головой и, понизив голос гармонии до мягкого шопота, запел сильным, горячим тенором:

Вот заду-умал сын жани-итса,
Дозволе-еня стал проси-ить.
Дозволь, батю-шка, жани-итса,
Дозволь взя-ать кого-о люблю,..

И опять дал волю пальцам.

Солдаты подхватили песню. Она стала буйно свиваться из нескольких голосов. Один поднимался густо, могуче, два других вились над первым нежно, как молодой хмель:

Отец сы-ыну не пове-ерил,
Что на све-ете есть любовь...

Серьга Мята слез с койки, вышел из каюты. Дождь затих. Влажно, полной грудью, дышала земля. Сумеречная река начинала легонько дымиться. Осторожно шагая по скользкой палубе, Серьга Мята прошел в кухню, закрыл дверь на крюк. Ему хотелось одиночества.

В трюме слушали песню солдат.

— Хорошо поют, гады, — сказал Бельский.

— Да, ловко выводят, — хрипя, подтвердил Долин.

Замолчали.

В трюм врывалась сырая прохлада. Густо пахло гнилой соломой и плесенью. Сгущался сумрак, в трюме было непроглядно, как ночью.

Смертники сидели молча. В последние дни часто выводили на расстрел. Все крепко сжались с мыслью, что скоро погибнут. Но теперь уже немногих пугала эта мысль. После тяжелых потерь, после многих страданий, опустошивших души, смертники готовы были на все. И даже Наташа Глухарева примолкла. В последние дни она без усталости бродила по трюму, со всеми заговаривала, теперь, видно, где-то уснула.

Слушая песню, Иван Бельский сидел, охватив колени руками. Как и все, он ясно сознавал, что смерти не миновать. Но ему не хотелось умирать так глупо: покорно выйти на палубу, остановиться под дулами винтовок, опустив руки и закрыв глаза... И он, уже не рассчитывая особенно на успех, а просто по выработавшейся привычке, все еще пытался придумать какой-нибудь план освобождения из баржи.

Песня оборвалась.

— Иван,—позвал Долин немного погодя,— где ты? Что молчишь?

— Песню слушал.

— Иди-ка сюда.

Вельский подполз.

— Иван, нагнись ближе, — попросил Долин. — По секрету скажу. Вот так.

— Плохо?

— Плохо, брат, — с трудом выговорил Долин и бурно закашлял, с минуту вздрагивал, отплеывая кровь. — Нас не слышат? Просто

невозможно, Иван. Креплюсь изо всех сил, а не могу. Точка.

— А ты крепись, крепись...

— Иван, слушай... — Долин схватил Бельского за руку, притянул к себе. — Вот, перед смертью человек если... Его последняя просьба... должна... быть выполнена? Ага?

— Ну? — не понял Бельский.

— Когда почувствую, что умираю, попрошу тебя... Выполнишь?

— Чего ты городишь? Ну, выполню, понятно, если... Вот, нашел, о чем говорить! Поживешь еще.

— Так... Помни, Иван, что дал слово... — твердо выговорил Долин. — А моя песенка спета. Нет, не спорь, я — большевик. Мы с тобой, как большевики, по душам можем говорить! Кха! Кха! У меня, брат, от легких одни обрывки остались. Все вот сюда выплевал. Меня сегодня не убьют, я завтра... кха!.. сам помру! Слышишь?

— Ложись на бок, — посоветовал Бельский.

— Все... равно...

— Легче на боку, тебе говорят!

— Нет, не бывать плешивому кудрявым, — продолжал Долин. — О себе я не думаю. Все передумано. Об одном я, Иван, жалею: мало я успел... сделать... для власти нашей. Ой, мало! — Он упал грудью на солому, долго кашлял. — Мало! И вот, понимаешь, хочется мне еще что-нибудь сделать... перед смертью. Хоть немного, хоть пусть как какой. Сделаю —

легче будет мне, Иван, умирать. Пойми ты меня, легче. Слышал где-то: хорошо умереть— все одно, что... жизнь продлить.

— Да что ты сделаешь? Что?

— В том-то и дело. Не могу придумать.

— Ты, Степа, брось думать. Довольно! И то, что сделал, хорошо... — теплым, влажным голосом сказал Бельский, проникаясь к Долину каким-то особенным, родственным чувством. — Хватит с тебя, братуха...

Бельский отполз в сторону, пошарил в соломе, отыскал краюху хлеба. Она досталась неожиданно. В полдень, когда он носил воду в трюм, один рябоватый солдат (его называли Серьгой Мятый) положил ему краюху в пустое ведро. Бельский ее спрятал, чтобы потом передать умирающему Степану Долину.

— Хлеб? — поразился Долин. — Откуда?

— Поешь, Степа, поешь немного...

— Хлеб, а? Батюшки, хлебец, ржаной...

Отдав хлеб, Бельский опять отполз на свое место, сел и, охватив колени, возвратился к прерванным мыслям. Что делать? Что придумать? Каждый день расстрелы. В трюме уже остается немного товарищей. Еще две-три ночи, — и все погибнут. И он погибнет... В трюм совсем мало проникало звуков снаружи. Иногда доносился, словно издали, хохот солдат, хриплый голос буксира да чуть внятный шум дождя. Непогода все заглушала своей тяжестью и унынием.

Как и все смертники, Степан Долин не ви-

дел хлеба трое суток и был страшно голоден. (За эти дни смертникам высыпали однажды в трюм только три мешка грязной моркови и огурцов, да и это Бологов сделал, видно, со злым умыслом, — поев зелени, многие смертники начали сильно хворать.) Схватив краюху хлеба, Долин поднялся, с жадностью оторвал кусок, начал быстро, судорожно жевать. Но жевать хлеб, — какое это, оказывается, трудное для него дело! В нем поднялась вся кровь! Надо глотать хлеб, а она душит, душит! И Долин вдруг поперхнулся и закашлял — резко, безудержно, захлебываясь кровью. Кашлял долго, бился на соломе в беспамятстве, сгребал ее под себя. Успокоившись, обтер рукавом подрагивающие губы, нашел в соломе краюху хлеба и — отодвинул ее в сторону, подумал: «Зря это. Зря. Не нужно. Еще день, два...» Поднялся, подполз к соседу, потрогал за грудь.

— Возьми, дружба... — И отдал хлеб.

Сосед, — это был токмашенский дружинник Самарцев, — схватился за краюху нервно и, вдохнув хлебный запах, как-то враз обессилен. В последние дни он часто мечтал раздобыть хотя бы маленький, самый маленький кусочек хлеба! Сколько он об этом думал! Ему все мерещилось, как мать вытаскивает из печи пышные караваи, а он, отхватив ломоть, натирает его чесноком и ест, ест... А то видел, как меньшей братишка бросает куски хлеба своей любимой собаке Черне, да какие

куски! И Самарцева тошнило от голода. И вот у него целая краюха хлеба! Сдерживая слюну, он, почему-то крадучись, ушел со своего места ближе к борту, где не было смертников. Пристроился там, раза два осторожно откусил от краюхи. И тут услышал тихий стон. «Кто-то хворый...» — подумал Самарцев и вдруг почувствовал себя неловко. Спрятал краюху под полу пиджака. Прислушался. Стон повторился. Самарцев пополз к стонавшему.

— Это кто?

— Овражнин... Кузьма.

— Что с тобой?

— Так, пустяки. В боку немного ломит.

— На вот, подкрепись... — поспешно сказал Самарцев, обрадованный тем, что может оказать услугу товарищу.

Кузьма Овражнин взял хлеб, положил на грудь, ощупал. Хлеб был ржаной, хорошо пропеченный, с мягкой коркой, пахучий. Овражнин неспеша, с наслаждением откусил один раз, другой, третий... И больше не мог. Откусить еще раз? Больше, чем тот, кто отдал ему хлеб? Нет, если он откусит еще раз, — это будет нехорошо. Очень нехорошо. «Я ведь еще ничего, здоровый, — уверенно подумал Овражнин. — А вон, скажем, Тимофей — он хуже меня». И пополз к товарищу.

— Тимоха, поешь хлебца, — шепнул Овражнин.

— Где взял?

— Кто-то подсунул, не знаю.

— А ты что? — удивился Тимоха.

— Я ничего, потерплю.

— Потерпеть — и я потерплю, — возразил Тимоха. — Не привыкать. Надо, вон, лучше Полозова подкормить. Он плохой...

Так и пошла краюха ржаного хлеба гулять по трюму из рук в руки. Беря хлеб, каждый почему-то начинал считать, что сосед слабее его и больше нуждается в поддержке. Краюха побывала у многих. Наконец попала к Гайнану Зайнуллину. Он подполз к Ивану Бельскому, потрогал за плечо.

— Ипташ... — Бельский не отвечал, и Гайнан потряс за плечо сильнее. — Товарищ! Спал?

— Задумался.

— Бери, ашай...

С минуту Иван Бельский удивленно вертел в руках кусок хлеба. А внезапно поняв все, — порывисто прижал его к груди. Обкусанный и обнюханный десятками голодных людей, он был теплый и влажный. У Бельского перехватило горло.

XX

Потерянно, словно заблудившись на вечерней реке, заревел буксир. Он повернул против течения. По палубе забегали люди. Грохоча цепью, полетел в воду якорь. И опять на палубе затихло. Но трюм ожил. Зашеве-

лились смертники, зашуршали соломой. Кто-то ржавым голосом сообщил:

— Остановились.

По трюму приглушенно закипели разговоры.

Остановилась баржа ниже Кубаса, в глухом месте — берега здесь невысокие, сплошь затянутые густыми зарослями, селения далеко, за поймой. Плыл вечер — тяжелый, сумрачный. Пойма, набухшая сыростью, дремала. Даже совы, удрученные непогодой, не кружились над полесьем. Вдали смутно мерцали огни. Река густо дымилась.

Вскоре к люку подошли солдаты с винтовками. Холодно брякнули ключи. Степан Долин потянулся к Бельскому:

— Вот когда... Вот...

— Молчи!

Захар Ягуков открыл люк, нагнулся, спросил:

— Спите?

Никто не отвечал.

— Раненько улеглись, — насмешливо протянул Ягуков. — Пойдете, голубчики, досыпать на тот свет. Слышите? А ну, выходи по фамилиям... Гайнан Зайнуллин! Эй, татарчонок! Слышишь, или уши заложило?

По трюму пополз шопот: смертники торопливо прощались, ободряли друг друга...

К лестнице прошел Гайнан. Остановился на первой ступеньке, простодушно спросил:

— Зачем звал?

— Пойдешь к аллаху в гости, сосунок.

— Не пойдём! — отрезал Гайнан.

— Ага, испугался! — злорадно зашипел Ягуков.

— Иди, Гайнан!.. Иди!.. — раздались голоса из темноты.

— Он сейчас заплачет! — издевался Ягуков. — Большевик, солёны уши! Пролетария!

— Замолчи, собака! — обозлился Гайнан. — Я не буду плакать. Ты будешь плакать. Вот я! Иду...

Вторым вызвали Евсея Лузгина, крестьянина из-под Лаишева, солдата-фронтовика. Он был слаб, плохо держался на ногах. Кто-то из смертников, схватив его под руку, помог подняться по лестнице. Выходя из люка, Лузгин твердо выговорил:

— Спасибо. Здесь сам пойду.

Люк закрыли. Смертники сидели безмолвно, прислушиваясь. Ни криков, ни стонов, ни выстрелов не услышали, — видно, Лузгина и Гайнана повесили.

Опять раздались шаги. Брякнули ключи.

— Самарцев! Выходи. Приготовиться Зотову.

Иван Бельский сидел, стиснув до боли челюсти. Люк то открывали, то захлопывали. В суровом молчании, лишь изредка бросая прощальные слова, выходили из трюма смертники. Теперь отчетливо доносились с кормы выстрелы, брань, стоны, крики. Бель-

ский закрыл ладонями уши. Но с кормы настойчиво пробивался стенящий гомон. Бельскому казалось, что не только на барже, но и по всей реке, по всей пойме ширится и крепнет гул выстрелов и человеческих голосов; река, пески, камни, тяжелые ели и дубы, — все стонет, скрипит и рушится, все живое бьется в предсмертных судорогах... В первые минуты звуки, долетавшие с кормы, отдавались в Бельском больно, жгуче, и он всячески защищался от них, закрывая уши и забиваясь в ворох ржаной соломы. Но вскоре перестал сопротивляться. Он напоминал замерзающего, который покорно сидит и думает о случайном и мелочном, уже не замечая, что пурга замечает его.

— ... Приготовиться Чугунову!

— Чугунов, приготовиться!

— Бельский, это ведь тебя зовут...

Эти выкрики, как электрические искры, ударили в тело. Не вставая, Бельский зачем-то стал снимать пиджак. А когда хотел подняться, кто-то схватил его за плечо, рывком бросил на солому. И Бельский услышал удушливый голос Степана Долина.

— Иван, лежи тихо...

— Пусти, ты что...

— Лежи, Иван! — хрипел Долин. — Я пойду.

— С ума спятил? Да ты — что?

— Молчи! — Напрягая последние силы, Долин навалился своей большой грудью на

грудь Бельского, закрывал ему рот. — Иван, понимаешь... Ты, может, спасешься еще... — горячо шептал он. — А я... дай мне умереть хорошо. Дай мне хоть своей смертью... послужить... кха! Я знаю: это моя последняя просьба. Ты дал слово...

— Ну, што там? — долетело из люка.

— Степан! Пусти! — вырывался Бельский.

— Ванька, чорт! — Долин схватил Бельского за горло. — От всей... партии... приказываю... Слышишь? — Быстро вскочил, побежал к люку.

— Чугунов! Чугунов!

— Иду!.. — крикнул Долин.

К лестнице рванулся и Бельский. Но заппулся, упал, а когда поднялся, — было поздно: люк уже захлопнули. Но Бельский все же поднялся по лестнице, начал бить кулаками в крышку люка. Люк не открыли.

...На корме толпились солдаты. Степана Долина повели туда. На ходу он застегнул пиджак на все пуговицы, оправил руками волосы, потуже натянул картуз. На корме остановился. К нему подскочил солдат, заломил ему руки назад, связал их бечевкой. Потом Долина оставили в покое. Солдаты толпились позади, о чем-то тихонько разговаривали. «Здорово затуманило», — подумал Долин, осматривая реку. К нему подошла черная лохматая собака. Она осторожно понюхала сапоги, подняла острую морду. Долину захотелось ее погладить. И в этот момент он

вспомнил случай из своего детства. Однажды он пошел на реку, — дело было в конце марта, — и видит: около проруби ползает и по-визгивает маленький черный щенок. Должно быть, кто-то утопил щенят в проруби, а этот случайно спасся. Степан схватил щенка, положил себе за пазуху, принес домой, отогрел, стал поить молоком. «Себе нет молока, а он щенят собирает да поит!» — ворчала мать. Она пинала щенка, а Степан утешал его и сам плакал... Долину захотелось вспомнить еще что-нибудь, более важное, но подошел другой солдат, ощупал веревки на руках, поднес к лицу фонарь. Увидев солдата, Долин изумленно прошептал:

— А-а... это ты, Серьга?

— Обожди-ка... стой... — смутился Серьга Мята.

— Служишь? Своих убиваешь?

Торопливо подошел поручик.

— Замолчать! Без разговоров!

Долина подвели к борту.

— Большевик? — спросил Бологов.

— Конечно...

— Хм, конечно, — усмехнулся Бологов. — Пристрелить!

Путаясь в полах шинели, подбежал Серьга Мята.

— Господин поручик, обождите...

— В чем дело?

— Господин поручик, ошибка здесь... — заторопился Серьга Мята. — Это не Чугунов.

— Как не Чугунов?

— Нет, нет... Я его знаю. Это — Долин, из Еловки.

Бологов подошел ближе к Долину.

— Долин? Да? За друга вышел?

— Бей, тебе все равно.

— Ух, сволочи!

Бологов размахнулся и ударил Долина по уху. Тот откинулся, поскользнулся, сорвался за борт.

— Сволочи!.. — поручик задыхался. — Утонет?

— Так точно. Руки связаны.

Через минуту Захар Ягуков зашел к поручику в каюту. Ошеломленный происшествием, Бологов сидел и, стиснув зубы, перочинным ножом ковырял стол.

— Господин поручик, вызывать?..

— Стой, Захар. — Бологов приподнялся, спросил: — За кого он вышел?

— За Чугунова, ваше...

— Стой. Это тот, которого не было в списках?

— Так точно.

— Который — лишний?

Опять сел, сказал устало:

— Ишь ты, за него... Хлопнуть его. Сейчас же.

Козырнув, Ягуков вышел из каюты.

...Иван Бельский не ушел с лестницы. И здесь — совершенно неожиданно — у него родился новый план. Правда, выполнив его,

нельзя было рассчитывать на освобождение. Но все же можно было надеяться, что смертники проживут еще несколько дней. А там— что будет... И Бельский, поднявшись, крикнул:

— Товарищи, сюда!

И попросил:

— Тише, тише.

Только успел Бельский рассказать смертникам свой план, — к люку подошли солдаты. Бельский еще раз предупредил:

— Тише! Все делаю я.

Люк открыли.

— Чугунова!

Из трюма кто-то ответил:

— Он хворый, не может итти.

— Пусть на карачках ползет, сволочь! Ну?!

В трюме — тишина.

— Я сейчас, — слабым голосом отозвался Бельский.

Он стал медленно карабкаться по лестнице. Раза три он останавливался, отдыхал, охал. На него кричали. Один солдат, не вытерпев, спустился в люк, перекинул в левую руку винтовку, а правой начал нащупывать Бельского, чтобы поднять его за ворот. Но в тот же момент Бельский схватил солдата за ноги, дернул, и они вместе покатались вниз по лестнице. Со всех сторон к ним бросились с криками смертники. Они потащили солдата в глубину трюма, а Бельский, щелк-

нув затвором винтовки, закричал тем, что метались у люка:

— Ага-а!.. Ну, что?! Что?!

В азарте он кинулся на лестницу. Но люк быстро захлопнули и звонко тренькнула пружина замка. Бельский злобно тряхнул винтовкой.

— Попробуйте теперь! Суньтесь сюда, твари!

А через минуту обо всем узнал поручик Бологов. Побледнев, он вскочил, выхватил наган, но не смог даже закричать на солдат. Держа в руке наган, прошелся по каюте, остановился у стола, заговорил тихонько:

— Так. Нализались. Залили глаза.

Голова его вздрагивала.

— Под суд. Всех.

Захар Ягуков поднял глаза, думая заговорить, — Бологов вдруг крикнул, как хлестнул бичом:

— Молчать!

И стал прятать наган.

— Что ж, пусть подыхают с голоду...

XXI

Солдаты, помрачнев, разбрелись по каютам.

Серьга Мята, как совершенно трезвый, был назначен часовым. Он вышел на палубу, неторопливо обошел каюты, стараясь не смотреть на виселицу. Сел на груду березовых

дров, сложенных на корме, поднял воротник шинели, прижал к плечу винтовку. Туман качался над рекой, заливал мелькавшие неподалеку огни бакенов, поднимался все выше и выше. На реке становилось непривычно глухо и душно. Серьга Мята вытащил кисет, начал было свертывать цыгарку, но вдруг услышал знакомый хриловатый голос:

— Служишь? Своих убиваешь?

Испуганно оглянулся. На барже — никого. «Почудилось» — подумал Серьга Мята, встал, опять пошел вокруг кают. Туман поднялся такой, что все, окружавшее баржу, потерялось из виду. Даже буксира, стоявшего совсем близко, не видно было, — чуть пробивались во мгле его сигнальные огни. По сырой палубе баржи опасно было ходить: того и гляди, сорвешься за борт. И дышать трудно. Казалось, что все, что было твердым и прочным, по чьей-то злой воле потеряло свои формы, растворилось в этой душной мгле, — весь мир стал зыбким, текучим...

— Ну, затуманило!

Серьга Мята опять сел на дрова. Закурил. И снова над ухом — хриплый шопот:

— Своих убиваешь?

Серьга вскочил, пошел к борту.

XXII

Лодка отошла от берега. Небольшая избушка бакенщика, полосатый столб со свисающими квадратами и кружками, озябший

куст белотала быстро померкли в тумане. Смолов и Воронцов усердно налегали на весла, за кормой хлюпала потревоженная вода. Мишка Мамай сидел в носу лодки, посматривал вперед.

— Не уйдет?

— Куда уйдет? — ответил Камышлов. — Глаз коли.

От каравана барж партизаны отстали близ Гремячки. Отдохнуть остановились у бакенщика, в крутой излучине. Вечером мимо прошла баржа с виселицей, и стал подниматься туман. Было ясно: баржа где-нибудь поблизости встанет на якорь. За дорогу партизаны вдоволь наговорились о плане налета, все обдумали до мелочей. Теперь плыли молча, осторожно. Сырой туман, сливаясь с водой, поглощал в себя все, что было вокруг.

Так плыли долго. Все продрогли. Вдруг лодка ударилась правым бортом об уступистый берег, забороздила, сшибая комья земли, накренилась, зачерпнула воды.

— Ну, ночь! — проворчал Василий Тихоныч.

— Тихо! Огни! — приглушенно крикнул Мамай.

— Где? Где?

— Это она. Разувайтесь.

Гребцы закинули весла в лодку; ее медленно сносило течение. Все напряженно всматривались в туман, стараясь определить: далеко ли до баржи, над которой чуть замет-

по мерцал в тумане огонек. Мишка Мамай ошупал в кармане наган, стал снимать лапти. Смолов, Воронцов и Камышлов тоже быстро сбросили лапти, осмотрели оружие. Но Змейкин все еще сидел неподвижно, посматривая на приближающиеся огни баржи и буксира.

— Ну, а ты что же? — спросил Мамай.

— Я? Я сейчас...

Но Змейкин так суматошно искал что-то в лодке и отвечал таким тоном, что Мамай понял: он ничего не ищет, а только оттягивает время.

— Что же ты? Испугался?

— Не в том разговор, — ответил Змейкин, бросив обшаривать дно. — А все же, правду сказать, мудреное дело.

— Брось! Наверняка возьмем!

— Наверняка только обухом бьют, да и то промах дают.

— Тюха ты!

— Не тюха, а...

— Ты... что же, а? — медленно, сухим голосом сказал Мамай. — Хочешь, ссадим? Хочешь?

И он так стиснул руку Змейкина выше локтя, что тот с ужасом откинулся к борту.

— Понял?

Партизаны зацыкали:

— Тише вы, нашли время...

— Не дури, Змейкин.

Сжимая в руке наган, Мишка Мамай нервно подрагивал, — скажи Змейкин еще слово,

и он бы выбросил его за борт... Лодка двигалась бесшумно. Сигнальные огни буксира и баржи, казалось, не приближались, а только едва заметно поднимались выше.

Туман обманул. Силуэт буксира внезапно поднялся перед лодкой.

— Стоп... — Мамай вскинул руку.

Время было позднее — за полночь. Буксир, окутанный туманом, спал. Лодка неслышно прошла мимо. Партизаны сидели, затаив дыхание. Могло показаться, что по реке плывет не лодка с людьми, а большая сучковатая коряга. Грести нельзя — часовой услышит скрип уключин и плеск воды. Остановиться тоже нельзя — течение несет неотразимо. Минута приближения к смутно маячившей барже казалась бесконечной.

Василий Тихоныч показал подлинное мастерство старого речника. Лодка беззвучно подошла к барже, не задев борта, и — такой уж случай — Мишка Мамай ловко схватился за лесенку.

Привязались. Стали слушать. На барже было спокойно. В густом тумане медленно таял огонек сигнального фонаря, тускло освещающая виселицу с двумя повешенными.

— Иду! — шепнул Мамай.

Осторожно снял пиджак и фуражку, положил на дно лодки. Сунул за пояс небольшой железный ломик. Держа в руке наган, поднялся по лесенке и, переждав минуту, выглянул на палубу.

Пустота. Тишина. Туман.

Каждое мгновение Мамай ждал шороха на барже. Он не боялся. Он был уверен: сейчас именно часовой должен испугаться от неожиданности. А пока солдат, перепуганный, соберется выстрелить, — он, Мамай, многое успеет сделать! Но часовой не показывался. Мамай легонько кашлянул. Тихо. Часовой медлил. «Вот тварь! — выругался про себя Мамай. — Спит или... Все равно, надо итти». Выскочил на отсыревшую палубу. Несколько секунд стоял неподвижно. Потом, пригибаясь и высматривая, мягким звериным шагом направился прямо к каютам, готовый при малейшем шорохе сделать резкий прыжок вперед.

Быстро обошел каюты.

— Спят, мерзавцы... — Мамай прошептал это с таким выражением, будто и в самом деле сожалел, что на барже не оказалось часового.

Остановился у дверей одной каюты, послушал, — там сонно храпели солдаты. Взмахнул рукой. Смоллов, наблюдавший за Мамаем, проворно выскочил на палубу, за ним — остальные. Василий Тихонич остался в лодке и, словно ожидая бури, ту же натянул картуз на взмокшие волосы.

Пробежав на корму, Мамай опустился у люка на колени, осмотрелся. Всюду — белесая, неподвижная, непроницаемая муть.

Торопливо ощупал люк. Крышка плотно

сидела в гнезде и была перетянута толстой железной скобой. В ушке скобы — тяжелый замок.

— Ну, заковали...

Откинув мокрые волосы со лба, Мамай попытался поддеть ломиком скобу. Попробовал с одной стороны, с другой, — нет, не подденешь. За одну минуту Мамай взмок. Устало, бесцельно глядя в туман, отложил ломик в сторону.

— Что же это такое?

Дышать было трудно. На миг Мамай увидел картину ночного трюма: заложив руки под затылок, спокойно спал Иван Бельский, измученная Наташа уткнула голову в солому, Шенгерей чешет тело, кто-то из токмашцев бредит.

За бортом глухо всплеснулась вода. Мамай встрепенулся: «Белуга, будь она проклята...» И вдруг вспомнил: рядом, на стене каюты, развешаны пожарные инструменты. «Ага!» — в Мамае все затрепетало от радости.

Топор нашел быстро. И поняв, что вот сейчас, сейчас откроет люк, выручит товарищей, — вдруг почувствовал, что враз ослабли руки. Кое-как поддал скобу и, боясь, что скоро потеряет все силы, не успев сделать дело, сильно рванул за топориче, — гвозди взвизгнули, и Мамае прожгло с ног до головы. Откуда-то с лаем вырвалась собака. Мамай вскочил, пинком подбросил собаку на воздух...

Враз ожили каюты, заскрипели двери, зазвенели стекла. Раздались крики солдат. Послышались выстрелы. Испортил все дело Змейкин. Он струсил и, крича, шмыгнул с палубы в лодку. Из дверей каюты, у которой стоял Змейкин, вырвались солдаты. Смолов выстрелил, сшиб одного. Из лодки кричали. Смолов понял: уже все в лодке. Выругался. На него налетели солдаты и матросы, сшибли с ног. Смолов каким-то чудом выскользнул из груды тел, отскочил к борту, слез в лодку. А на палубе все еще катался хрипящий и стонущий клубок: солдаты думали, что бьют Смолова, а били своего — водолива Мухина, который, в отличие от других, был не в белье, а в синей куртке.

А Мишка Мамай метался по корме. Мимо шла в тумане лодка. С нее кричали:

— Мишка! Прыгай!

От каюты метнулся солдат, ударил Мамай, вышиб у него наган. Мамай и солдат схватились и, тяжело урча, стали кататься по палубе. Солдат был необычайно ловкий и сильный, он подмял Мамай, норовя схватить за горло.

— Не души, гад! — отбивался Мамай.

— Сюда-а! Сюда! — кричали с лодки.

К бортам баржи устремились. Кто-то вопил:

— Держи! Держи!

Мамай, уловив момент, ловко перебросил через себя солдата. Но тот опять вцепился,

повизгивая от бешенства, и они покатались, покатались и — свернулись за борт. Солдаты подлетели к борту, но было поздно. Они кричали, ругались, но не стреляли — боялись убить Захара Ягукова, которого вместе с Мамаем река несла в туман, в ночь. Ягуков захлебывался, кричал. Солдаты хотели подобрать его с лодки, но лодки на барже не оказалось.

— А Мята где? — вспомнил Погорельцев.

— Убежал, видно, подлец!

— Бросай круги! Бросай, а то утонет!

В воду полетели спасательные круги.

Сильными рывками Мамай метнулся по течению. Из тумана до него донеслось:

— Миш-ка-а...

Мамай не понял, откуда долетел крик, но ответил:

— А-о-о!..

Отплыв больше сотни метров; Мамай опять услышал, что его зовут. Теперь показалось, что крик долетел с левого берега. Круто повернув, ударился наперерез течению. Греб сильно, вырываясь по грудь из воды, бился долго, но берега не мог достичь. Снова услышал крик, на этот раз отчетливо — со стрежня реки. Мамай безотчетно повернул обратно. Но вдруг правую ногу начали сводить судороги...

Безмолвно стоял туман.

Едва держась на воде, Мамай поймал что-то легкое и скользкое и сразу догадался — спасательный круг (солдаты бросали круги Ягукову, они иплыли по течению). Вскоре Мишку, усталого и продрогшего, подобрали товарищи. Уложили на дно лодки, закутали сухой одеждой. Стиснув челюсти, Мамай бурно вздрагивал.

Обескураженные неудачей, партизаны спустились километра три по течению и случайно попали в небольшую протоку. Остановились на острове. Развели костер. Смоллов и Воронцов, собирая по кустарникам дрова, натолкнулись на стожок сена. Разгребли его, закутали Мамай. После дождей промокший стожок прел, источая душное тепло. Мамай быстро согрелся и крепко уснул.

А когда проснулся, было уже утро. Небо, как и вчера, крылось серой изволочью, но стояло выше над землей. Нельзя было понять: поднялось или нет солнце. С устья шел ветер. Он шел порывистой походкой, трепля оцепеневшие от сырости тальники, а они, ища укрытия, метались из края в край поймы.

Стожок сена, где спал Мишка Мамай, стоял недалеко от реки, оцепленной шумным хороводом ветел и осокорей. Поднимаясь, Мамай увидел, что возле стожка вьется пышный хвост дыма. Под ветлами товарищи разложили костер. Отец, ломая пересохший за лето валежник, говорил:

тот несколько сажен летел, ломая посохшие кусты смородины. Отбросив партизан, Мамай щелкнул затвором винтовки, но, вспомнив что-то, не поднял ее...

О кусты Серьга Мята исцарапал лицо. Вытирая рукавом кровь на щеке, испуганно взглянул на подходившего Мамай.

— Убей... Все равно.

— Покарябался? — Мамай присел рядом на корточки. — Со лба еще сотри. Вот тут...

— Все равно мне...

— Вставай, мне надо поговорить с тобой.

Взяв под руку, Мамай поднял Серьгу, отряхнул его шинель.

— Скажи: Глухареву знаешь? Наташу?

— Глухареву? Знаю.

— Она... — Мамай задохнулся.

— Она еще жива.

— Жива? Ты знаешь?

Глаза Мишки засверкали.

— Пойдем к огню, пойдем. Озяб? Пойдем. Ты что же, убежал с баржи?

— Не сразу скажешь... — Серьга Мята все еще боялся расправы, говорил сбивчиво. — Сегодня ночью меня поставили, а я погодил немного, да и айда! А к реке непривычный. В тумане боязно плыть.

Подошли к костру.

— Садись к огню, грейся.

— Ну, прибился к берегу. — Мята оглянулся. — Податься не знаю куда — места чу-

жие, туман. Утром дымок ваш увидел. Дай, думаю, пойду. Вот и натолкнулся на них.

Партизаны засмеялись:

— А испугался как!

— Испугаешься... Места чужие.

— Почему же убежал?

— Чудной ты... — Мята отвернулся, по-детски шмыгнув носом. — Думаешь, когда тебя порол—простое это дело? Ты не кричал, а я... Вот, брат... Лучше ты меня не спрашивай, не муди душу.

Из носика чайника забился кипяток. Потроженный, недовольно заворчал огонь. Василий Тихоныч снял с тагана чайник, бросил в него щепоть листьев ежевики, роздал партизанам кружки, каждому отрезал по большому ломтю хлеба. Потом взглянул на сына и отрезал еще ломоть.

— Эй, ты... как тебя?.. — сказал он Мяте, который в это время сидел, нарочно отвернувшись к огню. — Чего ж ты чай не садишься пить? У нас без приглашений. Бери вот хлеб. А чайку из одной кружки попьем...

— Из одной... — Мята всхлипнул.

После чаю Мишка Мамай прилег у костра на охапку сена. День разгуливался. На серо-грязном небосводе появились большие голубые проталины. За седыми облаками пробиралось в вышину солнце. Посветлело и затихло. Ветлы и осокори, обмывшись в тумане, стояли бодро, ласково ощупывая воздух тонко позолоченными листьями.

На реке с небольшим промежутком проне-
слось два гудка: один низкий, бархатный,
другой — с визгом. Вероятно, пассажирский
пароход обгонял караван барж.

— Куда же теперь? До дому? — спросил
Мамай Мяту.

— Домой не хочу. Не прогоните — с вами
пойду, — тихо и раздельно ответил Серьга
Мята. — Бил я тебя, здорово бил, сейчас, по-
ди, знаки есть...

— Есть, — подтвердил Мамай.

— Так бей меня! Бей! — Серьга Мята при-
жимал к груди кулаки и говорил серьезно,
искренне: — Бей! Мне легче будет. А гнать...
не гони.

— Виноват — накажут те, которые к это-
му делу приставлены!

— Нет, ты накажи! — настаивал Мята.

Мамай уже не чувствовал неприязни к
Серьге Мяте. Погорячился, и вся обида уже
рассеялась, как ветром разогнанный туман.
Он опять думал о Наташе...

Из-за облака опять выглянуло солнце. Ве-
село вспыхнули перелески. На рябине, что
стояла недалеко от стожка, пиликнула птич-
ка, — вылетела поклевать кисленьких ягод.

Серьга Мята смотрел на пойму и тревожно
спрашивал:

— А не прогоните?

— Оставайся, куда ж тебя...

— Тогда отдайте мне... винтовку мою... —
тяжело сказал Мята.

Бери.

— А она мне... винтовка, значит... — Мята взял винтовку, повертел в дрожащих руках и закончил совсем тихо: — А лучше бы ты убил меня, а?

Коротко, словно забывшись, на реке крикнул буксир. Мамай бросился к берегу, раскидывая кусты.

— Не с баржой ли?

Вверх быстро прошел буксир с пушками на носу и корме. На берег с разлета, встряхивая седоватые чубы, начали выкатываться волны. Потом, обессилев, они поиграли на мели и мирно улеглись.

Мамай вернулся к потухшему костру.

— Все вверх идет. Где же наша-то баржа?

XXIV

Неудача смутила партизан. Они готовы были вернуться в родные места. Но неугомимый Мишка Мамай предложил новый план — обстрелять баржу с берега. Подходя то к одному, то к другому партизану, он настойчиво говорил:

— Сбегут! Я знаю!

Партизаны молчали.

Серьга Мята рассказал обо всем, что произошло на барже в последнюю ночь. Узнав, что Бологов собирается погубить заключенных голодной смертью, Мамай пришел в бешенство:

— Вы думаете... а они там...

Василий Тихоныч рассудительно сказал:

— Вот что, ребята. В игре — и то до трех раз счастье пытаются. А у нас — не игра. Вот и судите сами.

И партизаны согласились...

Баржа не показывалась на реке.

Мишка Мамай то и дело пытал отца:

— Не проглядел?

— Да нет, тебе говорят!

— А куда же она девалась?

— Шут ее знает. Как в воду канула!

Серьга Мята уверял, что баржа, по распоряжению капитана Ней, обязательно должна пойти в Богородск. Почему она задержалась на остановке, было непонятно. Мамай не вытерпел — переехал на лодке протоку и прошел по берегу до той излучины, где стояла ночью баржа. Вернулся обратно злой. Еще с другого берега протоки крикнул:

— Иди — свищи! Проворонили!

Решили немедленно отправиться в путь. Чтобы избежать встречи с судами белых (их много шло вверх) и сократить путь, поплыли протокой Шанталой, — она выходила в Каму против Рыбной Слободы (в тот год по Шантале еще плавали; сейчас она обмелела и местами пересохла). В протоке стоял звонкий осенний покой. По берегам, собравшись в кружки, мирно шептались осоки. Иногда, словно девки в нарядных сарафанах, проходили по берегу пышные рябины. С обрывов над ому-

тами свисали колючие плети ежевики, роняя переспевшие сине-дымчатые ягоды. Несколько раз на отмелях встречались утиные стайки. Увидев людей, они взлетали, шумно плеща, и со свистом проносились над поймой.

К выходу из Шанталы добрались под вечер. Здесь пришлось остановиться. К левому берегу, против Рыбной Слободы, подошло стадо коров. Навстречу шумными толпами побежали женщины и девушки, брякая подойниками. Потом начали возвращаться с молоком, от берега пошли к селу десятки лодок. И когда очистилось и затихло плесо, партизаны выплыли из Шанталы и направились вдоль левого берега. Миновав село, вышли на стрелень.

XXV

Захар Ягуков утонул.

После налета на барже с виселицей потушили сигнальный огонь. До рассвета в каюте не затихали взволнованные, приглушенные голоса.

Медленно, немощно поднимался день. Туман редел. Тихо выступали из него далекие, покатые косогоры с хохолками лесков, с раскиданными по лугам шапками стогов. Встреч течению набегали небольшие, неокрепшие волны. Вверх проносились, вспенивая воду, пассажирские пароходы, тянулись караваны барж, с гулким рокотом пролетали зеленова-

тые, как жуки, катера. Несколько раз конвоиры в рупор спрашивали:

— Куда идете?

Никто не отвечал. Суда шли торопливо и угрюмо.

Хотели было поднимать якоря, — к барже с разбега подлетел голубой катер. Накинув шинель на плечи, Бологов вышел к борту. От бессонницы его глаза светились тускло.

По лесенке на палубу взбирался, побряхтывая, маленький и пухлый человек в офицерской шинели.

— А-а, капитан Ней... Дайте руку.

— Тихо гребетесь вы, — сказал Ней, вылезая на палубу.

— С приключениями.

— Серьезные?

— Не особенно, — неохотно отвечал Бологов, отворачиваясь от ветра. — Вы откуда сейчас?

— Из Казани. Ташусь вот...

Прошли в каюту. Капитан Ней расстегнул шинель, остановился у окна и начал протирать платком пенсне. Протерев, неспеша посадил на коротенький нос. Лицо капитана изменилось — усталость и озабоченность проступали в каждой морщинке. Как и всегда, он осторожно, словно бусы на нитку, нанизывал слова:

— Из Казани. Да. Вы, конечно, пойдете теперь обратно?

— Зачем обратно? — удивился Бологов.

— Странно. Последнюю новость не знаете?

— Не осведомлен.

— Так слушайте. Мои предположения сбылись. Печально, но факт: мы отступаем.

— Не может быть! — вскрикнул Бологов.

Ней устало прищурился.

— Не может этого быть, — растерянно повторил Бологов.

— Наивный вы человек, как я погляжу. — Ней закурил, хлопнув крышкой серебряного портсигара. — Не обижайтесь. Если хотите слушать, — могу поделиться новостями. Угодно? Так вот: доблестные спасители родины бегут, поджав хвосты. Красные, как оказалось, борются не только силой, но и умением. Под Казанью сложилась чрезвычайно запутанная ситуация. Посмотрите. Казань — наша... — Ней достал из кармана блокнот и начал чертить. — Верхний Услон — важный стратегический пункт, господствующий над Казанью и Волгой, — наш. Там сильная батарея. На левобережье, под Казанью, — наши войска. И что же? Красные разбили нас! Да как блестяще! Вся дорога от Казани до Лаишева запружена нашими «доблестными» воинами.

Ней презрительно посмотрел в окно. Волны неустанно катились по реке, плескались о борта баржи.

— Не допускаю мысли, что это непоправимо, — растерянно сказал Бологов. — Наши смогут удержаться, должны удержаться!

— Советую вам, Николай Валерианович, перейти в штаб,—иронически протянул Ней.— Там нужны такие люди, особенно сейчас. Вы могли бы сочинять оперативные сводки, которые действовали бы лучше брома. Мы можем удержаться, но только на рубеже Урала. И то при одном условии — если сейчас же будут приняты решительные меры. Зимой мы не должны и носа показывать из-за гор. Нужно собрать войска, обучить их, одеть и обуть, наладить снабжение, трезво разработать новый план похода и тогда двигаться. Все остальные планы — сплошная комедия на провинциальной сцене.

Бологов нервно зашагал по каюте.

— Арнольд Юрьевич! Дорогой! Неужели эта кучка бездарной черни растерзает Россию? Неужели?

— Кучка бездарной черни? — едко усмехнулся Ней, не меняя позы. — Советую вам изменить мнение о большевиках. Уверяю, что это уже не модно. Не хотите? В таком случае вам, дорогой, трудно будет понять причины наших нынешних и, возможно, будущих поражений. Жаль. Между прочим, откуда вы взяли, что большевики хотят растерзать Россию? А?

— Все философствуете... — обиженно буркнул Бологов.

— Извините.—Ней опять посмотрел в окно, на шумный разлив тальников, о чем-то думая. — Так вот, заворачивайте обратно. И

как можно скорее. У вас все в порядке? Какие были приключения?

— Пустяки, все в порядке. — Бологов решил не рассказывать о прошлой ночи, о налете; боялся, что Ней получит повод для новых злобных рассуждений.

— Могу дать один совет. — Ней подошел к поручику, заговорил тихо. — Сейчас на реке плавать опасно. Если будут затруднения — бросайте баржу.

— Никогда!

— Дело ваше. Итак, всего хорошего.

Голубой катер ушел.

Несколько минут Бологов сидел у стола, сокрушенно подперев голову рукой. Глаза были тупые, влажные. Очнулся он от стука в дверь. Пришел капитан буксира Сухов, толстый, седоватый человек, с лицом, сложенным в грубые складки.

— Ах, да... — поднялся Бологов. — Едем, капитан, обратно. Немедленно.

— Как обратно? Надо в Богородск. Нет мазута.

— Мазута там не случите.

— Господин поручик! — скрипуче, недружелюбно сказал Сухов. — А как же без мазута?

— Заворачивайте немедленно! — отрезал Бологов. — Слышите? Больше я не намерен рассуждать. Моя команда перейдет на буксир.

— На буксир?

— Так надо.

— Хм, как же без мазута?..

— Слушайте, уважаемый человеке... — заговорил Бологов. — Мне тяжелее, чем вам, без мазута. В Богородске — красные.

— Красные? Да-а, вон что!

Сухов вышел, вздыхая.

Подняли якоря. Против течения маленький буксир шел очень тихо, вскрипывал, содрогался, густо дымил. Лавина реки неслась могуче, сжимая его острую грудь и обдавая пылью брызг. Берега медленно подвигались навстречу. Река казалась Бологову неприветливой. Тяжелый плеск воды, тоскливый шелест белотала, горестный крик отставшей от подруг чайки нагоняли тоску...

XXVI

Ночью остро почувствовалось одиночество. Баржу никто уже не обгонял, и Бологов понял: они отстали и шли последними по этой угрюмой реке. Буксир дрожал, взрывал воду, но казалось, что он стоит на месте, не осиливая стремнины. Берега отошли и спрятались во тьме, небо было тяжелое и чужое. Огни бакенов мигали зловеще. Влажный и липкий мрак, окутавший землю, приводил Бологова в трепет. Чудилось, что стоит только неудачно повернуть штурвальное колесо — и буксир с баржой окажутся среди этого дикого хаоса ночи, из которого нет путей-дорог.

Бесцельно и потерянно бродил Бологов по

палубе, останавливался на корме. Шумела, бушевала под колесами буксира черная, как деготь, вода. Низко над землей кружились большие звезды.

Подошел капитан Сухов.

— Не спите?

— Не до сна.

— Да, да. Неприятно, — холодно зато почувствовал Сухов. — А наши дела, господин поручик, как хотите, — никудашные. Швах дело!

— Шуруй, шуруй!

— Да как же шуровать? Мазута не остается губы помазать!

— Шуруй! Смотри, не сдобровать и тебе.

Безбрежна и враждебна была ночь. Одна звезда сорвалась, покатилась, оставляя во мраке горячий, но быстро тухнущий след. Бологов устало махнул рукой и пошел в каюту, — чувство потерянности все возрастало и возрастало.

XXVII

Ночью возле Мурзихи произошла неожиданная встреча. Из-за мыса вынырнуло странное, невиданное прежде на Каме, судно — длинное, остроносое, быстроходное. Оно шло без огней.

— Миноноска! — ахнул Смоллов.

Вильнув пенистым хвостом, миноносец сразу оказался рядом с лодкой, замедлил ход. С него закричали:

— Кто такие? Откуда?

— Рыбаки! — ответил Мамай.

На миноносце захохотали.

— Белую или красную рыбу ловите?

— Какая попадет!

— Так. А ну, иди к борту!

— Это зачем?

— Иди без разговоров!

— Вот когда зацепили, — испуганно прошептал Василий Тихоныч.

Оставив в лодке оружие, партизаны поднялись на миноносец. Их провели в каюту командира.

Закинув остриженную угловатую голову, командир важно развалился в плетеном камышовом кресле. На умном, твердом лице неподвижно стояли большие глаза. Командир (он был в форме лейтенанта) небрежно отряхивал папироску над пепельницей из серого мрамора.

— Куда ехал? — спросил он мягко.

Смолов, стоявший впереди, ответил, смотря прямо:

— К Лаишеву.

— Кто вы? Большевик? Прошу отвечать.

Смолов понимал: как теперь ни виляй — не увильнешь. В лодке будет найдено оружие и...

— Большевик?

— Да, большевик.

Лейтенант вскочил. Он хотел что-то сказать Смолову, но вдруг увидел позади других

Мишку Мамаю (тот стоял, уронив тяжелые от злобы глаза) и бросился к нему, заорав:
— Га-а! Братишка! Откуда? Как?

Кровь ударила Мишке в лицо. Теперь он узнал: это был тот самый матрос-большевик, которого он отпустил за песни... Матрос растолкал партизан, схватил за руки:

— Откуда, а? Не узнал?

— Дурак ты! Напугал как!

На радости Мамай так сжал руку Жилову (так звали матроса), что тот изогнулся, затопал ногой.

— Что гнешься? Что?

И еще раз подавил.

— Да ну тебя, чорт! — крикнул Жиллов, вырывая онемевшую руку. — Пусти! Пусти, а то драться буду!

Партизаны смотрели на них, ничего не понимая.

Вырвав руку, Жиллов похвалил:

— Силенка у тебя! — И обнял Мамай. — Песню мы тогда ведь с тобой не допели, а?

— Сам бросил. А я конца не знаю.

— Не знаешь? Ну, теперь допоем. А?

И они захохотали.

...Партизаны устроились в матросском кубрике и быстро познакомились с экипажем. Матросы рассказали, как оказался миноносец на Каме. Несколько мелких судов были проведены из Балтики по Марининской системе в Волгу. Рабочие волжских затонов и ремонтных мастерских вооружили свои суда. Так

создалась боевая красная флотилия на Волге. Она оказала большую помощь сухопутным войскам в борьбе за освобождение Казани. Теперь флотилия вошла в Каму, чтобы преследовать отступающих белых. Миноносец идет в разведку, а командир Жиллов, — он хитрый парень, — на всякий случай надел форму лейтенанта.

Узнав, что партизаны гнались за баржой, Жиллов схватился с места:

— Где она? Ушла?

— Ушла, значит, вверх.

Жиллов выскочил из каюты.

XXVIII

Белые в панике отступали.

В Чистополе поручику Бологову удалось достать немного нефти и мазута. Конвойная команда повеселела.

— Уйдём! Теперь уйдем, ребята!

— Отстали здорово...

— Все равно уйдем!

Не теряя минуты, вышли на Каму. Ночь прошла спокойно. На заре поднялся низовой ветер. Сначала он добродушно заигрывал с рекой — пролетал, бороздя воду, выскакивал на берега, барахтался в белотале, опять вылетал на реку и зачесывал ее в маленькие кудряшки волн. Но потом, наигравшись досыта, начал сердиться и поднял зеленоватые глыбы воды торчмя. Стало сумрачно. Кто-то

невидимый быстро задернул небосвод мохнатой изволочью. На взгорьях, по жилкам дорог и троп пробегали седые клубки пыли. Над чернолесьем носились большие стаи бронзовых и багряных листьев.

— Ветер может обломать бока, — сказал капитан буксира Сухов. — Зайти бы куда в затончик, переждать.

— У тебя слабая память, -- с трудом сдерживаясь, возразил Бологов. — Все забыл?

— Не забыл я...

— Ну, так шуруй!

Зашли в излучину. Ветер начал бить в правый борт. Буксир стал припадать на левый бок, словно защищаясь от ударов волн. Баржа то натягивала, то ослабляла канат, грузно раскачиваясь, виляя кормой.

И вдруг налетела буря. Она начала трепать реку за белые космы, исступленно бить о берега, встряхивать на воздух. Река вздыбилась и дико заревела. Буксир то взлетал над водой, то с хрипом и скрежетом летел в распахнутую пучину реки.

Сильно бросало и баржу. Волны с грохотом разбивались о ее правый борт, поднимая в воздух голубые языки. Баржа кренилась, изредка бросалась вперед, но на полпути, оглушенная налетевшей волной, останавливалась, вырывая из воды канат. Виселица скрипела, повешенные толкали друг друга плечами. По палубе бегала случайно оставшаяся на барже Найда. Она подбегала к бортам,

поглядывала на берега и с визгом отлетала к каютам, поджав хвост, и горько скулила...

Бологов увидел на барже Найду. В мокрой гимнастерке, с прилипшими к черепу волосами, он хватался за поручни у входа в матросскую каюту, падал, кричал, а что — и не понять было. Ветер рвал слова.

— Най... да!.. А-а...

Буря выла. На берегах с треском падали сухостойные сосны, старые ветлы. Над рекой летели хлопья сена, мусор, листья, колючая пыль, — все вокруг померкло... Волны кидали буксир. Капитан Сухов, без фуражки, в распахнутой куртке, метался у штурвала, что-то кричал матросам. Буря все свирепела, выворачивала нутро реки, раздирала его в клочья. Один матрос-великан, столкнув с лесенки Бологова, выскочил на корму... Поднявшись, Бологов увидел, что баржа с обрубленным канатом одиноко металась по бушующей реке.

— Найда!.. — поручик упал, скатился в каюту.

...Баржу качало. Скрипели каюты. Потерянно выла собака. Трюм оглушали гулкие удары воды. Смертники испуганно ползали по трюму — в соломе, в тряпье, среди трупов. Неожиданно нос баржи высоко подняло. Раздался скрежет и треск. И смертники услышали: в трюм со свистом стала врываться вода.

Миноносец стремительно шел вверх по Каме.

На баке стоял Мишка Мамай. У бортов бурлила, пенилась вода. Высоко били брызги. Держась за поручни и тяжело дыша, Мишка устало смотрел вперед.

Подошел Жилов.

— Думаешь? О чем?

— Так, о пустяках... — смутился Мамай.

— Тогда зря думаешь, — резонно заметил Жилов. — А что это ты дышишь так, будто воз везешь? А ну, дай лоб. — Приложил ладонь ко лбу, подержал. — Э-э, братишечка, да у тебя жар! Захворал? Простудился?

— Ерунда.

— Иди пришвартуйся к моей койке. Иди. У тебя определенно жар!

Мамай отказался.

Река, измученная бурей, лежала спокойно, поглотив в себя отражения кудлатых берегов и взлохмаченного неба. Миноносец летел среди нагромождения теней, виляя седовато-волнистым хвостом. В стороне от фарватера ныряли рыбацкие наплава. На берегах валялись вентерья. Ветлы, нагнувшись, мыли в реке свои белесо-золотистые кацавейки. В широком овраге лежал, словно забытая кем-то шуба, мелкий лесок. На вершине голого склона понуро стояла одинокая путница — сосна...

Но все эти картины бесследно пролетели

мимо Мамай. Он смотрел только вперед — только туда, где маячила чуть заметная черта, отделяющая небо от реки. Он каждую минуту ожидал увидеть там баржу с виселицей. Он хотел этого так страстно, что много раз обманывался. От напряжения в глазах пестрило.

И все-таки не он первый увидел баржу.

Он спустился в каюту, чтобы выпить, и в этот момент раздались голоса:

— Вон она! Вон!

— Она, да. Эх, ты-ы!

— Где? Где? — заметался Мамай!

— Да вон, у берега! Эх, гады!

На миноносце бегали, шумели. Мамай увидел баржу недалеко от песчаной косы. Баржа, не успев затонуть, была выброшена бурей на мель.

Сначала Мамай ясно увидел, что над водой баржа стоит невысоко. «Бросили... затопили...» — С этой секунды Мамай уже не мог хорошо рассмотреть баржу, хотя миноносец подошел к ней близко. Перед глазами творилось что-то странное. Баржа то всплывала на поверхность реки высоко, выше обычного положения, то уходила под воду так, что оставалась видна только мачта.

— Скорее... Скорее... — горячился Мамай. — Она ведь потонет, потонет! Ребята, давай скорее!

— Она на мели! — слышались голоса.

— На мели? Но ведь она тонет!

Мишка Мамай не заметил, как оказался на палубе баржи. Торопливо работая локтями, пролез сквозь молчаливую и суровую толпу матросов и партизан к люку. Один матрос уже сшибал замок с люка. Из баржи доносились хриплые голоса. Когда замок был сшиблен, несколько человек бросились пинать его ногами, как что-то гадкое. Мамай схватился за ушко скобы и рывком поднял крышку люка.

Смертники облепили лестницу. На верхней ступеньке — белокурый паренек, губы и подбородок у него в крови. Увидев людей, он откинулся назад, замахал руками.

— А-о-ой!..

Матросы зашумели. Двое, стоявшие у люка, схватили белокурого паренька за руки, вытащили на палубу. Остальные со стонами, со слезами начали выходить сами. Они выходили, оборванные, мокрые, костлявые, слабыми руками хватались за матросов, падали. Над рекой неслись крики, страшные мужские всхлипывания...

Не затихая, гомон быстро откатился дальше — на миноносец. У люка остался только Мишка Мамай. Он растерянно заглянул в трюм.

— Ну, кто еще? Выходи!

— Сейчас!

Около лестницы всплеснулась вода, показался грузный человек с черной бородой.

— Иван! Бельский!

Бельский неуклюже карабкался по лестнице, ворочая плечами, словно кого-то расталкивая с пути. С легкого короткого пиджака его стекала вода. В левой руке он держал винтовку. Вступив на палубу, он схватил Мамай за шею, прижал к бороде, потом заглянул в лицо и — отшатнулся.

— Мишка! Это ты? Значит, убежал?

— Убежал, Бельский. Убежал!

— Эх, Мишка! — Бельский пытался что-то сказать, но только сжимал челюсти и тряс головой.

— Бельский! Слушай-ка, а где...

— Теперь, дружба, я не Бельский!

Мамай взглянул на него недоверчиво.

— Запомни! Я — не Бельский! — резко повторил Иван. — Теперь зовите меня Долин-Бельский! Понял? Теперь во мне два человека! Я за двоих буду жить, за двоих! — И он быстро пошел, потрясая винтовкой.

Мамай бросился было за Бельским, чтобы спросить о Наташе, но ему почему-то показалось, что в трюме опять всплеснулась вода. Вернулся к люку. И что произошло дальше — очень удивило Мамай. По лестнице поднимался человек, лицо которого было знакомым. Он был в яловочных сапогах казенного покроя. «Да ведь это Шенгерей!» — узнал Мамай и протянул руки, чтобы помочь измученному татарину выйти на палубу. Но Шенгерей как-то незаметно проскользнул мимо. Вода опять всплеснулась, по трюму побежали кру-

ги. На лестнице показался Степан Долин. «Ну, вот! И Степан жив!»—радостно подумал Мамай. Долин сухо кашлянул, обтер мокрые усы и махнул рукой, — дескать, все пройдет. Но пока Мамай встречал Долина, на лестнице показался третий, незнакомый человек, потом четвертый, пятый, шестой... Черная вода плескалась по всему трюму. Со всех сторон из темноты, взметывая воду, поднимались и устало брели к лестнице смертники. Мишка стоял у люка, пропускал их мимо, перекидывался словами, жал им руки, обнимал знакомых и незнакомых. А смертники шли и шли — нескончаемой цепочкой, торопливо и радостно, стряхивая с одежд воду и вытирая мокрые лица. «А где же Наташа?» — подумал Мамай. Он начал молча пропускать смертников, подошел к краю люка, чтобы видеть тех, которые только вылезали из воды. Увидев пожилую женщину, он ласково схватил ее за руку, спросил:

— А где Наташа? Где?

— Там она, — женщина показала в люк.

— Наташа!

Мамай кинулся в трюм. Но его кто-то схватил сзади, вытащил на палубу, закричал над ухом старческим голосом:

— Мишка, пойдем! Пойдем, слышь.

— Постой, — вырывался Мамай, — сейчас Наташа выйдет. Вот сейчас, скоро...

— Сынок, Наташи нету. Умерла она.

— Как нет? Она вон там, внизу!

— Ах, ты, горе-горькое. Захворал-то как он!..

Мамаю все еще казалось, что в трюме переливалась, шумела вода, взлетали брызги.

Но его схватили под руки, повели. Мамай увидел, что прибрежный лес начал ложиться, как трава под косой, белорудые облака шумной стаей пронесли над рекой, потом низко и — все померкло перед глазами.

XXX

Крутой берег Камы. По берегу осенними огнями полыхало густое мелколесье. А над ним клубами дыма вздымались курчавые сосны. Здесь, у самого обрыва, на полянке, хорошо обогреваемой солнцем, появился бугорок свежей могилы...

У могилы сидел Мишка Мамай. Он был в шинели и грубых сапогах, рядом валялась фуражка. Держа на коленях винтовку, он старательно вырезал что-то ножом на ее ложе...

Дни горя сильно изменили Мамай. Лицо его построжело. Тонкие губы, любившие ехидно усмехаться, теперь были сурово сжаты. Живые, как ртуть, глаза померкли, стали холодными. От могучей фигуры Мамай веяло теперь какой-то новой, не слепой и бесшабашной, а строгой и сосредоточенной силой...

Недалеко от могилы плотничал Василий Тихоныч. Он сам предложил поставить вместо креста над могилой Наташи маленький

памятник со звездой. («Бог? А что он не пожалел ее?» — удивляя сельчан, говорил старик, ранее славившийся своей преданностью вере). Обтесывая столбики для ограды, Василий Тихоныч все поглядывал на согнутую дюжую спину сына, потом бросил топор, подошел, кивнул на реку:

— Не опоздаешь?

— Нет. Загудят.

И говорить Мамай стал спокойнее. Василий Тихоныч теперь боялся ему возражать.

— Завтра кончу, — сказал Василий Тихоныч, присев рядом с сыном. — Подсохнет малость — покрашу. Красной, а?

— Да.

— А что написать?

— Что хочешь. — Мишка обернулся. — Только, знаешь, напиши: здесь... Наташа Черемхова.

— Глухарева, — боязливо поправил старик.

— Черемхова, — спокойно, веско повторил Мамай. — Понял? Моя.

Василий Тихоныч хотел сказать, что неудобно все же называть Наташу Черемховой, раз не было свадьбы и нигде нет записи в книгах, но, взглянув искоса на сына, не решился, — ниже опустил козырек картуза. Чтобы утешить сына, сказал:

— Хорошее место тут. Веселое. Рукой подать — пароходы ходят. Чайки вон... И для глаза вольготно.

Мамай перестал вырезать.

- Весна придет, — загляни сюда.
- Как же, непременно загляну.
- Могилку поправь.
- Поправлю, сынок, поправлю.

Внезапно вспомнился Мишке вечер, когда он сидел с Наташей за деревней, а в землю косо бил лунный ливень и пахло цветами сонной травы, — вечер, который их особенно породнил... Холодные глаза Мишки скользнули вверх, выше всего, что можно было увидеть на земле. Пересохшим голосом он сказал чуть слышно:

- Сонная трава зацветет, — нарви.
 - Нарву, нарву.
 - Сюда принеси. Она любила ее.
- Мишка опустил взгляд.

— Горела она, как огонь. Весело так, ярко. И мне тепло было. И — потухла.

- Потухла, сынок.
- Сволочи! — сказал Мамай. — У каждого человека они радость грабят. И меня вот ограбили.

Над рекой прокатился гудок.

— Зовут.

Мамай сложил нож, сунул в карман.

— Ты что это вырезал?

— Вот...

На ложе винтовки Василий Тихоныч увидел четко вырезанное слово — «Наташа». Удивленно вскинул брови. А Мишка поднялся, хлопнул по ложу ладонью:

— Пойдем, Наташа! Пойдем бить их...

Он повернулся к могиле, упал на колени, крепко прижался губами к бугорку свежей земли... А потом крупно зашагал тропинкой к берегу. На полпути Василий Тихоныч, задыхаясь, догнал его, отдал фуражку:

— Забыл, сынок...

У берега стоял, покрытый броней, буксирный пароход; на передней палубе у него — орудие. Пароход готовился к отплытию. Полной грудью вздыхала его машина. Матросы и красноармейцы с винтовками (среди них были некоторые из прежних смертников и партизан) сгрудились на корме.

Командир отряда Долин-Бельский, затянутый в кожаную куртку, с маузером, стоял на капитанском мостике. Выйдя из баржи, он прежде всего хотел сбрить бороду, но получилось так, что для этого никак не мог выбрать свободное время. И он махнул рукой, — ладно, дескать, как-нибудь после. Коренастый, с черной кучерявой бородой на бледном лице, — он был грозен.

Мамай поднялся на мостик.

— Готов?

— Гуди!

— У тебя... земля на губах, — заметил Долин-Бельский. — Вытри.

Над пароходом взвилась белая, кричащая струйка пара.

Красная флотилия шла в верховья Камы. Над осенней поймой проносились зовущие и тревожные гудки. Часто завязывались бои. Тишину рвал грозный свист и грохот. Эхо билось в лесах. Суда белых, потерянно визжа, метались по реке, охваченные пламенем и дымом. Стремнина несла оглушенных снарядами белотелых судаков и жирных лещей. На одной из больших пристаней, пытаясь выиграть время для отступления, белые выпустили из хранилищ бензин на Каму и подожгли; могучее пламя, играя, потекло вниз по реке; чернобагровые тучи дыма закрыли небо. Но это не помогло: суда красной флотилии бешено прорвались сквозь огонь. И когда прорвались, одним из первых настигли тот маленький буксир, который водил баржу с виселицей. Истукленно взревели гудки и, казалось, ахнула и забилась в судорогах сама земля...

В Прикамье загоралось бабье лето. На земле было просторно и солнечно. Изредка пролетали стороной серебристые облака. В черных лесах шел тихий листопад. На звонких озерах в пойме табунились утки. Заботливое зверье строило зимние жилища. Воздух был насыщен крепкими запахами увядания. Но в полях уже шло обновление — поднимались пушистые озими. Как всегда, спокойно и величаво свершался мудрый закон земли.

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании, книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников изд-во просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы, направлять по адресу: Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 10, изд-во «Советский писатель».

Ответ. редактор *Н. Чертова*

A38833

Подпис. к печ. 11 июля 1941 г.

Печатных листов 5

Автор. листов 5,04

Колич. печ. знаков в листе 45920

Заказ № 2304

Тираж 25 000

Цена 1 р. 50 к.

Типография «Красное знамя»,
Москва, Суздальская, 21.

1 руб. 50 коп.

77